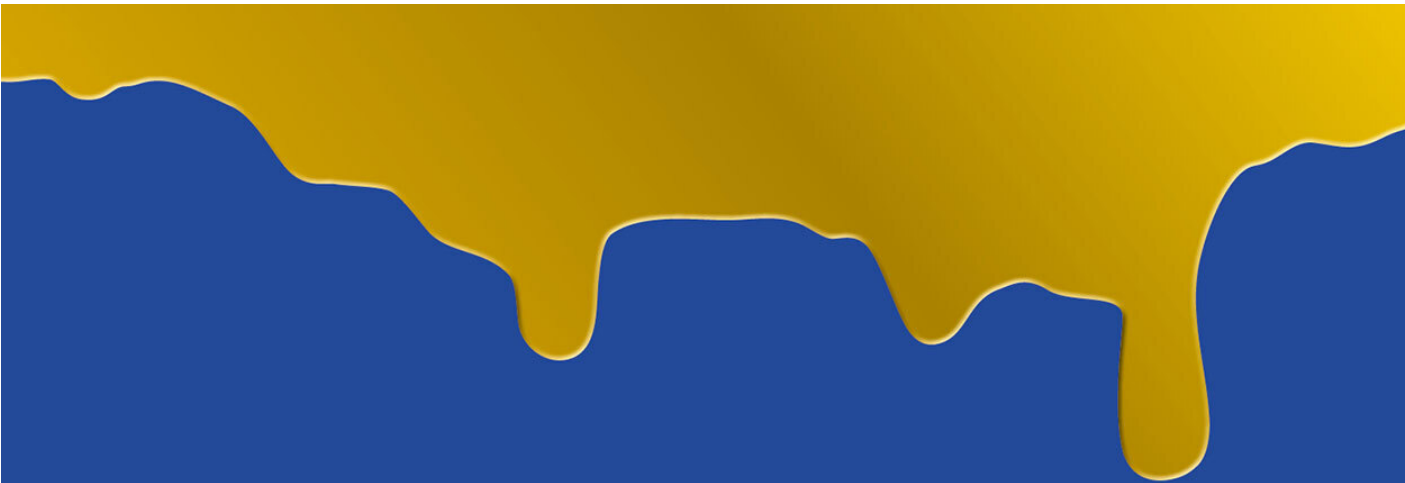




пчелы

екатерина
нигматулина

18+

Екатерина Нигматулина

Пчелы

«Поляндрия NoAge»

2026

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Нигматулина Е.

Пчелы / Е. Нигматулина — «Поляндрия NoAge», 2026

ISBN 978-5-6054562-9-2

В жизни Аглаи, однообразной и предсказуемой, неожиданно появляется «волшебник». Она встречает его на курсах английского языка. Гудвин – блестящий педагог и неординарный человек, непохожий на других. Ему сложно не доверять, им невозможно не увлечься. Только со временем Аглая осознаёт: она одна из многих «пчелок» в его «улье», и у каждой свое предназначение. Содержит нецензурную лексику.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-6054562-9-2

© Нигматулина Е., 2026
© Поляндрия NoAge, 2026

Содержание

Пролог	6
Глава первая	7
Глава вторая	26
Глава третья	47
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Екатерина Нигматулина

Пчелы

© Нигматулина Е. А., 2026

© Оформление. ООО «Поляндрия Ноу Эйдж», 2026

*Мужу,
Марине
и моей Бабушке*

Я молчу. Я восторженно (и, вероятно, глупо) улыбаюсь, смотрю в ее зрачки, перебегаю с одного на другой, и в каждом из них вижу себя: я – крошечный, миллиметровый – заключен в этих крошечных, радужных темницах. И затем опять – пчелы – губы, сладкая боль цветения...

Евгений Замятин. Мы

*Погружался я в море клевера,
Окруженный сказками пчел.
Но ветер, зовущий с севера,
Мое детское сердце нашел.
Призывал на битву равнинную —
Поборотся с дыханьем небес.
Показал мне дорогу пустынную,
Уходящую в темный лес.
Я иду по ней косогорами
И смотрю неустанно вперед,
Впереди с невинными взорами
Мое детское сердце идет.
Пусть глаза утомятся бессонные,
Запоет, заалет пыль.
Мне цветы и пчелы влюбленные
Рассказали не сказку — быль.*

Александр Блок

Господи Божие и вы, чудотворцы Зосим и Савватий, сохраните и помилуйте мою пчёлку в пасеке от всякого хищения... Полети, моя пчела, на все четыре стороны за жёлтыми восками, за сладкими медами, приноси мёд в свои ульи. Как осётр-рыба бежит в море, так бы ко мне, рабу Божию, летала на пасеку. Как из столбовых рек и протоков бежит сильная рыба в море, так бы ко мне, рабу Божию, моя пчела летала со всех круговерхов, из тёмных лесов, с лугов, с болот, с топей, с чёрных грязей, из чистого поля, набравшись, напившись жёлтыми восками, садилась в свои ульи со всем смиренством, с плодом и с повозом, Господу Богу на славу, а мне рабу Божию, в пожиток, во веки веков, аминь.

Тамбовские губернские ведомости. 1864. № 16

Пролог

Укус

Людус. Эрос. Сторге. Филия. Прагма. Агапэ. Мания.

Мания.

Мания.

Мания.

Аглая сидела на валу. Не плакала. Выпотрошенная рыба, которой тонким острым ножом располосовали брюхо, засунули туда жилистые пальцы и медленно вытащили кишки, не плачет. Умер, поздно реветь. Папа привозил с рыбалки шук, костлявых, серо-бурых, с габсбургской губой, точь-в-точь как у обэжешника. Плотву, смешную, крошечную, с испуганными кроваво-красными глазами. Судака, прозрачного, элегантного, со сладковатым белым мясом, ели первым. Хотелось бы быть судаком, но кого она обманывает? Точно же плотва.

Гудвин выпотрошил аккуратно, нежно, пунктирно, то тут, то там вкалывая анестезию. Нет, нет, потерпи, не больно. Вот так, милая. Хорошо. Никакие они были не пчелы. Рыбешки они, рыбешки. Пока живые, красивые, извиваются, можно держать в аквариуме, любоваться, вынимать сачком, исследовать, как быются в судорогах, опускать обратно в воду – дергать за ниточки жизнь. Ах, как славно! Ах, как бесстыдно! Вольно как! А когда рыбы подышают, жутко же воняют, хочется срочно выкинуть. Рыбы – странные создания, их тело совсем не выносит смерть, не дает времени смириться с ней. Подох – смерди, на большее ты не годишься.

Папа рыб уважал. Гудвин рыб боялся. Слишком близко к смерти.

Пчелы – другое дело.

Только времени у пчелы мало, пол-ложки меда за всю жизнь. Если тебе не повезет, конечно, и ты не окажешься маткой, королевой улья. Но куда ей до матки? Жизнь каждой матки начинается с насилия. Обычная трудовая пчела на такое неспособна. Износишь крылья – становишься рыбкой. А рыбкидохнут и смердят. Неживое вызывает отвращение. Неживое с жизнью несовместимо. В шестнадцать умереть особенно обидно.

Мания. Людус. Эрос. Сторге. Филия. Прагма. Агапэ.

Аглая перечитала написанное в тетради.

Агапэ. Прагма. Филия. Сторге. Эрос. Людус. Мания.

Острым, заточенным, как жало, карандашом «Конструктор-ТМ» быстро, жадно, безжалостно вычеркнула по очереди.

Агапэ.

Прагма.

Филия.

Сторге.

Людус.

Эрос.

Оставила одно. Надавила на карандаш, начала обводить, но не закончила. Грифель не выдержал, шелкнул: пересох от долгого хранения. Аглая швырнула карандаш в лихорадочно радующуюся жизни мать-и-мачеху. Синий карандаш распотрошил цветы, приземлился чужеродным элементом. На него тут же опустилась маленькая пчела. Рабочая. Не матка. Пчелы всегда летят на синий.

Глава первая

Синий

Десять лет без права выхода досрочно. Аглая зажмурилась. Глаза резало. Нос щипало. Виски колотило. Это еще повезло, что десять. Когда заканчивала началку, грянула реформа образования: четвертый класс исчез, испарился. Бамбара, чуфара, лорики, ёрики, пикапу, трикапу, скорики, морики! Явитесь передо мной, летучие обезьяны, заберите четвертый класс в страну черных пчел! Из третьего Аглая пошла сразу в пятый, скрестила за спиной пальцы: вдруг потом можно в седьмой, девятый, а там еще чуть-чуть – и... свобода! Чуда не случилось. Свободы тоже. Чудеса и свобода после развала СССР были по карточкам, как масло и яйца. Скачки во времени упразднили вместе с тетрадками с гимном на задней обложке. Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре! Конец сказки. Оле-Лукойе, конечно, посадил тебя у седла, но зонтик открыл нецветной, ярких снов не будет. «В этой стране, как в черной дыре, не действуют ни законы физики, ни здравого смысла», – ухмылялся папа, поглаживая филатовские усы. Папа тогда еще возил Аглаю на синем мотоцикле «Урал» на дачу – люлька, брезент, ноги упираются в мешок одуванчиков, корм для кроликов (Дед на даче разводит) – и рисовал на ватмане детально проработанную схему жизни пчел – домашка по биологии. Плакат выцвел, но до сих пор висел на первом этаже школы, Аглая так никогда и не призналась, что рисовала не она. Восхищения биологички записала на свой счет, отказываться не стала. Не пойдет же папа рассказывать, чей плакат. Папа уже никуда не пойдет. От него осталась только олимпийская кружка – индийский чай со слоном, кипятик, пять ложек сахара.

– Эй, ты окей? – Наташка тихонько толкнула в локоть. Волосы у Наташки за лето отросли, мама запретила ей до восемнадцати стричься: «У нормальной девочки косы длинные!», прокалывать нос: «Ты как бык, что ли?!» – и краситься: «Интердевочку мне тут не устраивай!» Наташка слушалась: не стриглась, нос не прокалывала, не красилась. Была нормальной девочкой, как-положено-девочкой. Аглая тоже не красилась. Мама ей не запрещала, но пудру Lancôme в черной блестящей коробочке с золотой розой-львиный-зев, длинную палетку Ruby Rose с зеркальцем – синие тени вытерты до металлического дна – и толстенькую тушь Clinique – не осыпается, ресничка к ресничке – запирала в ящике стола на ключ, в ванной не оставляла.

– В порядке. – Аглая разжмурилась. Десять лет. В школе. Может, лучших лет ее жизни. Мысль – звук крошащегося пенопласта. Вероничка, когда слышала, как крошат пенопласт, зажимала уши, шипела на всю комнату: «пш-ш-ш-ш-ш!» – невидимых кошек отпугивала. Десять лет. Все в жопу. Слово «жопа» Аглая никогда вслух не произносила, только про себя, украдкой, как волшебное заклинание, которое точно работает, но что делает – непонятно. Слово «жопа» у Аглаи не выходило как нужно, даже пытаться не стоило. «Здравствуй! Жопа! Новый год!» – нагло, настезь ругалась баба Вася во дворе на постоянно работающий в окне ее квартиры на первом этаже телевизор. То ваучеры для приватизации введут, то Мавроди окажется очередным жуликом. «Жо-о-опа! – растягивал гармонию слово Дед, задерживаясь на каждом звуке. – Только в вашей чертовой новой России жо-о-опа – это не просто часть тела. Такую страну развалили, жо-о-о-полизы американские!» Развал Советского Союза Дед считал своим личным, самым большим и единственным поражением в жизни, событием, сместившим земную ось и поколебавшим, но не сломившим его веру в советскую утопию и человека. Что тут скажешь кроме слова «жо-о-опа»? Матом Дед при них с Вероничкой никогда не ругался. «Жо-о-опа» была его Кейптауном, пределом дозволенного, его мысом Доброй Надежды. У бабы Васи и Деда слово «жопа» получалось отлично: тяжело, наотмашь, пощечиной. Слишком жужжащее, слишком твердое, слово «жопа» звонко лопалось пузырем жвачки «Дональд» – лучшие вкладыши-комиксы, самые большие пузыри – во рту, воздушным «А-а-а-а!» оставляя

на устах говорящего сладкое, бульбумное послевкусие недоумения. Бах! Что-то в материи Вселенной при каждой произнесенной «жопе» менялось, это точно. Только вот что? Слово «жопа» жалилось, конечно, но иногда его просто нечем было заменить. Чудеса и свобода по карточкам, жопа в ассортименте. Так и жили.

– Аглая у нас староста класса. Как и в прошлом году. – Ольга Николаевна чуть наклонила голову, ласково посмотрела.

Аглаю было за что любить: ответственная, организованная, отличница. В розовых лосинах в класс не заявляется, ходит в синем трикотажном костюмчике с рынка – пиджачок, прямая юбка до колена, хлопковые колготки. Всегда аккуратно причесана – хвост или две косички. Родители приличные, интеллигенты, оба Бауманку окончили. Инженеры. Что-то про баллистические ракеты. Девочка с доски почета на первом этаже. Девочка, которая никогда не подведет. На вес золота девочка. Особенно в такие времена, как наше: разнузданное, наводящее ужас, время – исключение из всех правил, время наперекосяк. «Дымом дымитесь под тобой дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади...»¹, а они все равно есть, эти девочки-отличницы с доски почета на первом этаже. Чудный звон колокольчика.

За спиной Аглаи пискляво хмыкнула Настька. Третья парта у окна, блатная. Аглая пришла в гимназический «А» в пятом, Настька там уже сидела, держала оборону. Аглая попала в пятый «А» случайно. Вера Владимировна поймала ее в коридоре: «Глаша, завтра срочно ко мне в кабинет на тестирование! Хватит тухнуть с бэшками! Преступление не использовать твои мозги». Аглая часто заморгала – она что, тухнет с бэшками? у нее что? особенные мозги? – но на следующий день к Вере Владимировне явилась, тестирование написала. Гимназический пятый «А» встретил Аглаю холодно, Настькиным смехом, наглым, мучительным, пенопластовым. Они все с первого класса вместе учились. Когда Настька хохотала на весь класс, хотелось ее придушить, но Аглая даже не оборачивалась. Вот еще! Не дождется. Они даже в глаза друг другу не смотрели, знали обе: они из разных никогда не пересекающихся каст, одна – красивая, другая – умная.

– А мы и не против, других желающих нет! – послышался Петькин голос с задней парты на среднем ряду.

Петька за лето вытянулся, отпустил волосы до плеч. Косил под Ди Каприо. Тоже мне Джек Доусон! Лучше бы математику подтянул. Недели не прошло, а он уже двойку схлопотал. Веру Владимировну сложно вывести из себя, спокойная, четкая, сосредоточенная, любимая Аглаина учительница. Но Петька удивительно глуп, настолько глуп, что даже терпение Веры Владимировны сбоит. Она замирает, как суслик, выпучивает глаза и молчит. До десяти про себя, наверное, считает. Раз. Опять домашку не сделал? Два. Как, как можно дробь в десятом классе не знать? Три. Лентяй ты, Петя. Просто лентяй. Четыре. Петя, ты это серьезно? Пять. Еще раз повтори. Шесть. Восемь на девять – сорок?! Это в какой же системе координат, скажи на милость? Семь. Дурак ты, Петя, дурак. Восемь. Тонкомозглый тупица. Девять. Господи, ну сколько можно! Десять. И-ди-от. Идиот!

– Аглая также отвечает за уборку класса. Не забывайте записываться. Дежури́м по двое два-три раза в месяц. Влажная уборка класса обязательна. Моисеев, ты слышал меня? – Ольга Николаевна подняла очки в темной закругленной роговой оправе, точно Людмила Прокофьевна из «Служебного романа», посмотрела на Мишку. Непонятно было, лучше она в этих очках видит или, наоборот, хуже. В ответственные моменты психологического давления или крайней степени экзальтации Ольга Николаевна очки приподнимала, хмурила аккуратно выщипанные брови, по завету Верочки прореженные рейсфедером. Когда же она говорила о Пушкине, очки снимала совсем, клала на стол, прозревала под живительным действием солнца русской поэзии.

¹ Н. Гоголь «Мертвые души».

– А чего я? Я мыл, Ольга Николаевна! Это, небось, Смorchок не мыл, а свалил на меня, – протянул Мишка и широко, радостно улыбнулся. Мишка единственный в классе улыбался по-честному, без задней мысли. Его будто слепили из пластилина, смешного, игрушечного, чтобы он вот так всем улыбался: просто и честно. Нос картошкой, уши торчат и оттого, кажется, тоже улыбаются. Конопатый Антошка из мультика.

– Миша! – Ольга Николаевна поджала губы, улыбку сдержала, погрозила Мишке пальцем. Нацепила что-я-говорила-про-Смorchка-взгляд, нахмурилась, но глаза не слушались, улыбались.

Ольга Николаевна подняла ключ от класса, трофейно очертила им в воздухе полукруг, положила на Аглаин учебник. Старец Фура торжественно передает ключи от форта Боярд своему Паспарту. Ольга Николаевна похлопала по ключу с учебником, будто успокаивая. Ну ничего, ничего, все будет хорошо, и этих переживете! На обложке русского за десятый класс красная книга пожирала знак параграфа. Пищевая цепочка великого и могучего выглядела неуклюже и жалко. С дизайном в новой стране было плохо. Никак не было. «Спид-Инфо» и учебники, вероятно, верстали одни и те же люди.

Аглая посмотрела на врученный ей ключ, кольцо всевластия местного масштаба. Девчонки опять будут клянчить поставить дежурить с Петькой, будут тайно стирать имена друг друга, вписывать свои. Грудь у одноклассниц растет, а ума не прибавляется. Аглая послушно кивнула. Да, Ольга Николаевна. Конечно, Ольга Николаевна. С удовольствием, Ольга Николаевна. Классная довольно улыбнулась, поправила кудри. Электробигуди «Локон». Двадцать два рубля. Двести двадцать ватт. У мамы такие: и кудри, и бигуди. Ольга Николаевна забубнила про программу чтения на десятый класс. Островский. Тургенев. Некрасов. Достоевский. Толстой. Осталось отсидеть два года. Два долгих года, душных, тягучих, потных, как спортивная раздевалка. Семьсот тридцать дней минус каникулы. Школу придумали садисты.

Ольга Николаевна стояла у доски, будто в аквариуме, открывала рот, артикулировала хорошо, четко. Можно было не слушать, и так все понятно. Юбка-карандаш, строгий пиджак – все по фигуре, Настькина мать, швея с золотыми руками и дрянным характером, полгорода обшивает. Овальная брошь, серебряная окантовка, мраморный срез голубого камня. Всю зарплату Ольга Николаевна спускала либо на одежду, либо на собрание сочинений Пушкина с золотым обрезом, двадцать томов. Пушкина привозит Костик с рынка. У Костики можно достать и Пушкина с золотым обрезом, и энциклопедию «Что есть что?» – «Семь чудес света», «Динозавры», «Крестonosцы», «Рыбы», – и кассеты для видика. Костик – парень предприимчивый и интеллектуально беспринципный. Ты ему говоришь, что тебе надо, он достает. Тут вопрос цены.

Костик единолично управлял книжной точкой у выхода с рынка, носил красную шапку-петушок с надписью «Спорт» и в своем деле пропагандировал идеалы Французской революции – выступал за свободу торговли и самовыражения, за полное литературное равенство. Различий внутри литературной экосистемы Костик не делал, с одинаковым энтузиазмом продавал и Пушкина с золотым обрезом, и любого Толстого на выбор – Толстые в ассортименте, господа! – и «Ночь живых мертвецов» из серии «Библия ужасов», и Говарда Ф. Лавкрафта с голозадой красоткой на задней обложке – очень ходовой товар, и «Тайную доктрину» Блаватской – Вездесущий принцип, космогенезис, слепая материя, шестая коренная раса – тут надо вчитаться, но говорят, это самый верный эзотерический источник. «Нового Кинга перевели», – заговорщицки говорил Костик, поправляя шапку-петушок, и доставал из-под прилавка заветный экземпляр. Стивен Кинг о своей сумасшедшей популярности в далекой новой стране не подозревал. Как и другие иностранные авторы. А их знали. Знали, любили, цитировали. Переводили на филфаках с энтузиазмом, но наспех, пропуская непонятные слова и целые абзацы: быстрее, Ирунчик, быстрее работаем, народ требует зрелищ. Издавали несметными тиражами в ярких обложках вырвиглаз. Особой популярностью у Костики пользовались новеллизирован-

ные фильмы ужасов: «Челюсти», «Чужие», «Кошмар на улице Вязов» с посиневшим, видимо, от подмосковного мороза Фредди Крюгером. Ольгу Николаевну Костик уважал, жалел, относился по-отечески покровительственно. Когда она в своем драповом пальто и шляпе подплывала к прилавку, Костик приосанивался, инстинктивно застегивал зеленую олимпийку Adidas и приседал в некотором подобии книксена. Ольга Николаевна единственная всегда обращалась к нему на «вы». Никто больше так не обращался к нему ни до, ни после. Для всех он был вечным Костилом, а для нее – Вы-Константин. Костик Ольге Николаевне – глаз вырви, а Пушкина с золотым обрезом доставал и наценку делал минимальную, как пацан – пацану.

– Владимир Семенович Высоцкий. – Ольга Николаевна поправила очки, сложила ладонь в ладонь, сама с собой заключила известный только ей одной договор. – Владимир Семенович Высоцкий. – Пауза. – Величайший поэт-песенник. – Пауза. – Лирик. – Пауза. – Гражданин. – Ударение досталось каждому слогу, получилось не патетически-возвышенное, а бытовое, сплюснутое. Гараж, да, Нин, гараж.

Как только Ольга Николаевна начинала делать паузы, следовало молчать с серьезным лицом, задумчиво кивать, умножать в уме трехзначные цифры, не дай бог засмеешься. Аглая кивала. Папа мечтал о гараже, но никогда так и не получил. «Урал» всегда стоял под окнами. Летом – распахнутый, запредельный, удалой. Зимой – ласково укрытый брезентом и снежным сугробом с Аглаей ростом. «Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям»².

– Что еще за Высоцкий, Ольга Николаевна? А как же Пушкин?! Я только вашего Пушкина полюбил, а вы какого-то Высоцкого нам! Зачем нам Высоцкий? – подскочил Петя. Петя врал, подлизывался. Не полюбил он никакого Пушкина. Он вообще учиться не любил. Петя просто знал кнопку Ольги Николаевны – «Урри, где у него кнопка, Урри?»³ – и давил на нее, как крыска на педаль удовольствия: Пушкин, Пушкин, Пушкин. Петя знал, что делал. Пушкина Ольга Николаевна не просто любила, она его боготворила. И как солнце русской поэзии, и просто как солнце, живительную силу, единственную, что ни разу ее не предала, не оставила. Помогла пережить и Советский Союз, и перестройку, и хлеб по карточкам, и новую, непонятную, смутную Россию, в которой Пушкина можно было достать только у братков. У греков был Гелиос, у египтян – соколиноголовый Ра, у славян – Ярило, смахивающий на Льва Толстого на коне, а у Ольги Николаевны – Пушкин, кудрявый, вечный, никогда не заходящий. Светящийся шар, идеальная сфера горячей плазмы поэзии и магнитных полей прозы. Желтый карлик, метр шестьдесят без каблучков, чуть выше конторки. Центр ее солнечной системы. Черно-белый портрет работы Кипренского Ольга Николаевна вырезала из «Литературной газеты», носила в кошельке, в отделении с прозрачным окошком. Открываешь кошелек, видишь не свою бедность, а Пушкина с шотландским тартаном на плече, всегда спокойного, всегда идеально одетого, всегда здесь, с тобой, в России, никуда не уехавшего, как Толя – Оля, поехали со мной, здесь ничего уже не будет, здесь будет только хуже, – оставшегося навсегда.

– Не переживай, Петя, с Пушкина мы начнем уже на этой неделе. А Высоцкий, Петя, к твоему сведению, из Пушкина вырос... Может, ты хочешь взяться за подготовку вечера?

Петя сморщил нос, будто стухшие яйца унюхал, замолчал.

– Ясно, Петя, я так и думала. – Ольга Николаевна вздохнула, обвела класс ободряющим взглядом ребенка во дворе, который предложил поиграть в фанты, но знает, никто не согласится, все хотят в казаки-разбойники. – Кто возьмется за Высоцкого?

– Я! – Аглая подняла руку до того, как поняла, зачем она это сделала. Высоцкого пел папа под гитару, собирал стихи, перепечатывал на машинке. Переплетал.

² Колыбельная Медведицы из мультипликационного фильма «Умка» в исполнении А. Ведищевой. Автор текста Ю. Яковлев.

³ Из художественного фильма «Приключения Электроника». Реж. К. Бромберг.

– Умница, Аглая. Спасибо! – Ольга Николаевна вскинула левую руку, костлявые пальцы с перстнями-бородавками приземлились Аглае на голову, слегка с любовью надавили. Рука у Ольги Николаевны была тонкая, но тяжелая, не выпрямилась.

Запахло можжевельником, зашипало щеки. Аглая устала в парту. Новая, гладкая, как каток, залитый зимой во дворе. Класс летом отремонтировали средствами родителей. У них теперь лучший в школе, Ольга Николаевна очень своим классом гордится. И Вера Владимировна, и Любовь Степановна, и Михална – все приходят чай пить с курабье. Крошки потом не выметешь.

– Аглае нужен соведущий. – Ольга Николаевна высоко задрала подбородок, убрала руку с Аглаиной головы, цаплей пошла вдоль рядов, медленно, зависая, выкидывая вперед длинные ноги. Колготки Golden Lady цвета загар, блестят. Такие на рынке только под заказ, ждать неделю.

– Ребята, активнее! – Ольга Николаевна вытянула длинную шею, высматривала, какую лягушку сожрать.

– Давайте я, Ольга Николаевна! – Ольга Воронина. У Ольки собака, колли, и много настольных игр: «Эрудит», «Колесо фортуны» с настоящей рулеткой, «Русское лото». Есть даже «Менеджер» в длинной коробке с мужиком в усах и черных очках. У Аглаи дома не было настольных игр, только карты и шахматы. С Вероничкой они играли в пьяницу. Вероничка сначала канючит: «Давай поиграем!» – а когда проигрывает, не разговаривает с ней. Пару дней дуется. С Дедом они играли в дурочку. «Я в дурака не играю, только в дурочку», – говорил Дед. С родителями – в преферанс. Раньше.

– Кирюша, может, ты? Ты и считаешь заодно. Твой тембр хорошо ляжет на лирику Владимира Семеновича.

Кирюша – вторая парта справа, в портфеле всегда бутерброд с докторской колбасой – неторопливо встал, согнул голову, будто на полонез Наташу Ростову приглашал.

– Буду рад, Ольга Николаевна!

Кирюша всему всегда рад, на все всегда согласен. Аглая тут же пожалела, что вызвалась. С Кирюшей никто в классе не дружил. Его не трогали, не обижали, но дружить не дружили. Кирюша был чужеродным классу элементом, толстенький, ответственный, в костюме, со старыми родителями. Аглая таких до Кирюши не встречала, не знала, что такие бывают. Мама Аглаю в двадцать четыре родила, и то поздно. А Кирюшу тогда во сколько? В сорок, что ли?! Стыд какой!

– Н-да, не герой романа, – сочувственно шепнула Наташка.

– Наташа, ты тоже хочешь? – Ольга Николаевна оперлась о парту, нависла.

– О нет, нет! Я Аглаю послушаю, Ольга Николаевна. – Наташка училась хорошо, по касательной, не напрягаясь. Троек особо не получала, но и за пятерками не гналась. Кому они нужны, эти пятерки?! Наташка мечтала подстричься, проколоть уши и встречаться с Матвеем. Матвей Наташкиного порыва не считывал. Ни совместная уборка класса – я вас поставила вместе на вторник, – ни приглашения на медляки на огоньках – «I follow the Moskva / Down to Gorky Park / Listening to the wind of change»⁴ – действия не имели, Матвей относился к Наташке, как к писателям в классе на стене – доска, три гвоздя, чего висят, непонятно, но, вроде, мешать не мешают. Аглая про себя думала, что Матвей дурак, но Наташке не говорила. Просто опять ставила их вместе дежурить.

Высоцкого на трех гвоздях не было. Службу в сентябре несли Лермонтов, Пушкин, Толстой. Остальные ждали очереди в шкафу. Три гвоздя для русских писателей прибил Кирюшин папа, старый еврей с чемоданчиком инструментов и лысиной. Единственный отец на всех родительских собраниях. Вежливый, седой, покладистый, он сам стыдился, что такой старый,

⁴ Песня «Wind of Change» группы Scorpions.

в глаза никому никогда не смотрел и на все, что ни попросишь, соглашался. Ольга Николаевна сразу взяла его в оборот – кто-то должен был прибивать гвозди, заносить парты, чинить постоянно ломающийся кран. Кирюшин папа прибивал, носил, чинил. Ольга Николаевна пристально следила за ротацией русских классиков в визуальном пространстве российских школьников. Раз в неделю снимала левый портрет, протирала розовой махровой тряпочкой – микрофибра, такие только в электричках продают, настоящее чудо инженерной мысли в бытовом хозяйстве – и отправляла отдыхать в шкаф. Писатели рядком послушно передвигались на один гвоздь влево: Пушкин занимал место Лермонтова, Толстой – Пушкина, а пустой гвоздь доставался какому-нибудь Гоголю с немой головой и каре биологички. У Гоголя был самый хитрый взгляд из всех обитателей стены: будто ему задали учить наизусть «Русь-тройку», а он не выучил. У Толстого – самый суровый, давящий, смотришь на него и сразу понимаешь: в Бога не веришь, а грешна, и грехи свои тебе никогда не отмолить, старухин у Толстого взгляд был, старухин. У Лермонтова – самый растерянный и обиженный, будто он пытался что-то объяснить всем, да никто не понял. У Достоевского взгляд был стеклянный, пустой, Толстой тебя взглядом сжирал, Достоевский – сжирал себя. Пушкин смотрел устало. Пора уже было на покой, в шкаф, да не отпускают. Он висел над доской чаще других. Ольга Николаевна, в отличие от Костика, эгалитаризм в русской словесности не приветствовала.

* * *

– Ты на английский записалась?

Наташка. Перемена. Подоконник в коридоре. Круглое сухое печенье с названием мексиканского сериала, «Мария». Сериал Аглая с Бабушкой вместе смотрели. Каждый день. «Первый канал Останкино». 19:00. Премьера худ. телефильма «Просто Мария». Мария Лопес с длинными черными косами, подлец Хуан Карлос, красавец Хосе Игнасио, маленький Чучо. Год жизни в Мексике, не слезая с дивана.

– Куда?

– На английский. Курсы открыли, на старой фабрике, в поселке. Там уже полкласса. Я вчера Настьку с мамашей ее видела. Ты чего все проспала?!

Неприятно кольнуло в животе. Опоздала. Всегда обо всем узнает последняя.

– А ты что, записалась?

– Ага, мы с мамой в выходные сходили. Там ничего так. Модно! Парты как в американских фильмах, со столиками!

Наташка пришла в пятом классе, в октябре, сразу после Аглаи. У Наташки был зеленый ранец с котенком по имени Гав и огромный, размером с Наташкину голову, бант. Ольга Николаевна посадила их вместе. Так и подружились. Дружба не по выбору, по обстоятельствам. Вынужденная и крепкая. Когда любить больше некого, любишь еще сильнее, и кажется, что взаправду. Аглая скучала по началке. Понятно, беззаботно, парты на одного, маленькие, деревянные, одна за другой, как сиденья в автобусе. Аглая, командир октябрятской звездочки, сидела за первой. Толстая Анька Коровина, цветовод, – за второй, соседка по подъезду Тося, санитар, – за третьей, Коля, двоечник-физкультурник, которого Аглая подтягивала вечерами по русскому, – за четвертой. Пятого звена у звездочки не было, хромая у нее была звездочка, ушибленная, светила не в полную мощь. Ну ничего! Мы еще посмотрим, кто план по посещению больных одноклассников перевыполнит, кто больше макулатуры соберет! Аглая отрабатывала за троих, мечтала скорее стать пионеркой, попасть на Красную площадь. Цвета дядинного москвича галстук видела даже во сне. Аленка со двора, дочка Веры Владимировны, на три года старше, галстуком хвасталась. Выходила гулять прямо в форме, после школы не переодевалась. Вытягивала жирафью шею, вышагивала, как петух по двору, била по рукам всех, кто пытался до галстука дотронуться. Вот еще! Брысь, мелюзга! Испачкаешь! Завидовали все:

Вероничка, рыжая Олеська, а больше всех – Аглая. А потом всё как всегда. В год, когда Аглаю наконец должны были принять в пионеры, случилась бабы-Васина здравствуй-жопа-новый-год. Пионерскую организацию отменили. Мгновенно. Подло. Втихаря. Аглая долго не могла поверить, а когда поверила – даже Аленка галстук сняла, – схватила прозрачную звездочку с портретом кучерявого Ленина, похожего на Вероничку, запихнула под матрас. Обманул! Лежи под матрасом! Пусть там тебе будет темно, пыльно и обидно, как ей! И пусть тараканы на тебя накакают, и будешь ты весь в черную точку с тараканьей ветрянкой! И я не буду тебя оттирать! И зеленкой замазывать! Предатель! В пионерскую организацию Аглая больше не верила, разочаровалась на всю жизнь. Но парты все-таки были хорошие, крепкие, на одного парты.

– Ну что, пойдешь? – Наташка доела последнее печенье. У Наташки был хороший аппетит, она в два счета с Аглаиным перекусом справлялась.

– Не знаю, – соврала Аглая, твердо решив идти записываться сегодня же, после обеда.

* * *

– Агуля, ты? – Бабушкин голос донесся с кухни, легкий, ласточкин. Бабушка, конечно, видела ее в окно, весь трехминутный путь от школы прекрасно просматривался с седьмого этажа.

– Я. – Аглая бросила кеды в прихожей. – Дед на даче?

– Так еще утром уехал же. Теплицы закрыть да на участке прибраться. Зима же скоро.

Аглая кивнула сама себе. Это она тоже знала. Она также знала, что убираться Дед, конечно, не будет. Весь день проболтает с Михалычем, так что и Михалыч не уберется.

– Обедать будешь. – Бабушка произносила вопросы про еду с утвердительной интонацией. Безапелляционно. Заранее сама за тебя соглашаясь.

– Буду. – Аглая с Бабушкой не спорила. Бесполезно.

На плите в большой желтой эмалированной кастрюле с маками кипела картошка, та самая, до горизонта и обратно. Папа оказался прав. Движения Бабушки ускорились. Нагнулась, прищурилась, увеличила газ. Щелк! Взяв полотенце, приподняла крышку. Бом! Крышка музыкальной тарелкой звякнула о кастрюлю. Вода поднялась мыльной пеной, забурлила сильнее. Вот так! Бабушка одобрительно кивнула. Она вела непрекращающийся разговор с едой, как мать с новорожденным, которая знает, что ребенок ответить не может, а все говорит и говорит, задает вопросы, делает паузы, будто ждет ответа. Варюсь, варюсь, Нина Степановна, стараюсь! Бабушка заглянула в сковороду к котлетам. Ладные, ровненькие, как пирожки.

– Картошечку варю. – Бабушка дотронулась до картошки ножом. Не готова. Еще чуть-чуть.

Аглая села в кресло, поджала под себя ноги. Кресло провисло, истерлось до деревянной перекладины. Завалено подушками. Красная с серпом и молотом, жесткая и тяжелая, каменная, внизу, на ней – черная, изъеденная молью, с вышитыми жостовскими цветами. Мягко не было, было ровно. Дед не разрешал выбрасывать старую добротную советскую мебель. При любом упоминании хватался за сердце, ложился на диван умирать.

– Свеженькая, молодая! Только из погреба принесла! Своя, кожа прямо под водой сходит. Хороша уродилась!

На картошке Аглая видела папу в последний раз, собирали урожай уже без него. Дядя Валера помог. Аглая хорошо запомнила последнюю картошку. Будто кто-то невидимый, всезнающий предупредил: запоминай, это важно, Аглая, нужно запомнить. Она запомнила, как вылезла из синего...

Аглая вылезла из синего мотоцикла, аккуратно проеденного по швам ржавчиной мотоцикла – Вероничка так обгрызала Бабушкины ватрушки: тесто обкусает, а творог оставит – и потянулась. Сидеть в железной люльке «Урала», похожей на космическую капсулу, приходи-

лось поджав ноги и до подбородка натянув на себя брезент. Дует. Забудешь завязать волосы – в жизни не расчешешь. Бабушка и та не справится. А она даже жвачку у Веронички из волос выковыряла так ловко, не пришлось отрезать клочок. Вероничка выла, Бабушка спокойно чесала, нараспев приговаривая любимое: «Терпи, казак! Атаманом будешь!» Когда Аглая была маленькой, часть про казака поняла сразу, Дед ей про казаков рассказывал. У них усы как у моржей, и они всё на свете умеют. А вот кто такой атаман, не знала, слышалось «а то мамой будешь». Получалось: родишь, жизнь закончится. Пупса, подаренного бабой Надей, Аглая терпеть не могла, засунула подальше в шкаф, не играла.

Майские выдались холодные, но без снега. Надели огородное, поехали сажать. Растянутый мамин свитер с полосками на рукавах (румынский, считай – вечный, тетя Зоя донашивала за Бабушкой, мама – за тетей Зоей, Аглая – за мамой, потом Вероничке перейдет), лосины цвета морской волны (блестящие были, да все истерлись, только на картошку и годятся теперь), кеды «Два мяча», как у Электроника (почти новые, папа их сносить не успел, нога быстро выросла, баба Надя запрятала на антресоль, гордо вручила через много лет Аглае со словами: «Никогда ничего не выбрасывай, поняла меня?!» Аглая поняла, не выбрасывала).

Родители исчезли в вагончике, загремели железными ведрами, доставали, расставляли, насыпали. Всё делали молча. Поругались утром. Мама что-то сказала про рыбалку. Папа что-то буркнул про работу.

Повинность сажать картошку, пропалывать, собирать колорадских жуков Аглая несла стойко. Тут все было просто и понятно. Ешь значит копаешь. Зато на картошке они всегда устраивали пикник. Голубое хлопковое покрывало в цветочек с бельмом облепихового варенья (Бабушка отстирывала, отстирывала, да не отстирала) расстилалось у бытовки. Дом строить денег не было, Егорыч подогнал списанную «буханку». У «буханки» сняли колеса, поставили на полозья от огромных саней, густо покрасили синей краской. «Буханка» ослепла почти полностью, было не видно ни фар, ни лобового стекла, только сзади два маленьких решетчатых окошка оставили зрячими. Егорыч припаял на них железные прутья – залезут еще! Не «буханка», а сани Деда Мороза, переделанные в карету скорой помощи. Фургончик Элли. Аглая его побаивалась. Унесет еще ураганом.

Вспотевшая в фольге картошка в мундире важно водружалась посередине покрывала. Рядом – сваренные вкрутую яйца с синей каемкой вокруг желтка (Бабушка боялась сальмонеллы, меньше пятнадцати минут не варила), корочки душистых сладких сушеных дедовских яблок (не отгрызть, в чае вымачиваешь), батон из пекарни, утром только испекли, еще, кажется, теплый, но самое главное – Twix, Snickers, Milky Way из ларька на Первомайке, мама купила. И всё ей, Аглае, одной! Хоть объешься!

Аглая перепрыгнула канавку, посмотрела на десять бескрайних соток. Когда-то их было шесть. Папа с настойчивостью, достойной советского инженера, покоряющего атом, припахивал каждый год новые владения: чуть-чуть, и еще немного, и еще чуточку. Со Степаном, горбатым трактористом, они действовали дружно, слаженно, тихой сапой осваивая подмосковные почти канзасские степи. Папа привозил Степану рижские шпроты и водку, Степан папе давал добрые советы: «Не наглей, Мартыныч! Борозду чуй! Борозду!»

Пахло свежей землей, дождем и майскими жуками. Мускулистое, вспаханное Степаном на прошлой неделе черное поле жадно предвкушало наживу.

Принялись за работу. Папа копал лунки, крепкие руки с легкостью управлялись с лопатой. Вонзить, поднажать, выкинуть. Вонзить, поднажать, выкинуть. Мама на карачках следовала за папой по пятам. Ведро пушистой белесой золы, мешок с удобрением, выцветшая на солнце кепка. Родители работали синхронно, слаженно. Прямо как Аглая с Аленкой, когда они через скакалку в детстве прыгали. Роза, береза, мак, василек! Алка, фиалка, красный цветок! Никого лучше них во дворе не было. Они прыгали прямо и задом, одинарным прыжком и двойным, скрестив руки на груди или держа их сзади, на месте или с разбега, по одному или

вдвоем, через две связанные скакалки вместе или через две вращающиеся в разных направлениях. Скакалка чеканила асфальт, а они громко считали. Давай! Слабо десять раз по десяти?! «Весна, весна на улице, весенние деньки! Галдят грачи на дереве, гремят грузовики»⁵.

Аглая от мамы и папы отставала, волокла за собой ведро сморщенной бородавчатой семенной картошки, вздыхала, кидала в золу. «Ровнее! Глубже!» Папа иногда останавливался, ставил на лезвие резиновый сапог, закуривал, оценивал работу дочери, говорил только два слова: «Ровнее!», «Глубже!», будто русский был у него не родной и выучил он только эти два слова по острой необходимости. Руки двигались механически, зола прилипала к пальцам вместе с мокрой землей. Тело быстро вошло в ритм. Ровнее, глубже, ровнее, глубже. Время растягивалось. Заныла поясница. Аглая вытерла пот со лба синим рукавом, подняла глаза на папу:

– Долго еще?

– Только начали. – Папа не остановился, ткнул пальцем вверх: – Горизонт видишь? Вот дотуда и обратно. Так три раза.

Аглая вздохнула как подросток, презрительно, тяжело, безысходно. Папа только отмахнулся, будто Аглая – слепень. Зачем спрашивала? Ответ всегда один и тот же. До горизонта и обратно, а потом еще раз, и снова. Участок у них был неровный, холмистый. Ровного папе не хватило. Когда участки распределяли, он еще майора не получил. Чтoб этот Степан провалялся со своим трактором! Линия горизонта уже была где-то в царстве Бастинды или Гингеми.

– Скоро устроим перекус, давай, один рядочек еще. – Мама высыпала остатки золы из ведра, пошла набирать новое.

– Лучше бы дома осталась, – буркнула ей вслед Аглая.

– И что дома сидеть, штаны просиживать?! Лучший отдых – смена деятельности. Я посмотрю, как ты потом эту картошечку будешь уминать.

– Ненавижу картошку, – соврала Аглая. Только картошкой она и питалась. Картошка, огурцы, котлеты. Все. Больше она ничего не ела. Зачем? Нет ничего вкуснее Бабушкиной жареной картошки. Ни-че-го на свете. Сливочного масла Бабушка клала от души, щедрый шматок. Набирала подтаявшее жирное масло столовой ложкой, шлепала на сковороду, улыбалась, щурилась, повторяла священнодействие еще раз. Картошку резала ровными брусочками, заговаривала заклинаниями, кидала в шкварчащее масло, ждала, мешала, отскребала, солила. Никто так не умел. У мамы картошка выходила клеклая, потная, недожаренная, у Бабушки – хрустящая снаружи, мягкая внутри, идеальная. Отскребаясь от сковородки корочки и ешь с горячим черным хлебом и дедовскими пупырчатыми колючими огурцами. Счастье! Бездомным голодным котярой заурчал живот. Аглая приложила руку, погладила. До горизонта и обратно, до горизонта и обратно. Ведро пустело. Солнце в мае выдавало тепло дозированно, тебе чуть-чуть и тебе немного. Ровнее! Глубже! Ровнее! Глубже! Загромыхали пустые ведра, мама перевернула, поставила табуретками. Аглая подняла глаза. Голубое покрывало судорожно вздрогнуло в маминых руках, ковром-самолетом опустилось на землю. Горизонт!

– Обедать! – Мама помахала полуоткушенным огурцом.

Аглая прищурилась, сглотнула слюну, спотыкаясь, бросилась вниз к вагончику. Пикник!

Сонно, устало загудел под плечом холодильник. Горизонт видишь? Вот дотуда и обратно. И так три раза. Когда они вернулись домой, папа сказал, что очень устал, сразу лег спать, не ужиная. А на следующий день не вернулся с работы. Просто больше никогда не пришел.

Холодильник вздохнул, замолчал. Аглая открыла глаза. Кухня была крошечная. Вокруг стола – узкий п-образный проход. Дед пролезал только боком, папа с мамой расходились живот к животу, не смотря в глаза. По стенам – ящики, деревянные, зеленые, покоцанные. Мелок «Машенька» оставил на них индейский боевой раскрас, призванный оказывать психологически-химическое давление на тараканов, устрашать. Тараканы мелка «Машенька» не боялись,

⁵ А. Барто «Верево́чка».

так, классики на асфальте, лабиринт. В ходе непрекращающихся боев с Бабушкой они своих позиций не сдавали. Непонятно было, кто к кому в квартиру забрался: тараканы к Бабушке или Бабушка к тараканам. Аглая отработанным, верным, передающимся из поколения в поколение движением снимала с ноги тапку. Хлоп! Жидкое, хрусткое тараканье тело лопалось, шелкнув, как раздавленный подошвой молодой желудь. Но тапкой всех тараканов не перебьешь. Тараканы быстро бегали и плодились. С ними пришлось научиться жить. Тут главное было не отступать от правил, соблюдать кодекс. Идешь ночью на кухню воды попить, перед тем как щелкнуть выключателем, не забывай зажмуриться и досчитать до десяти. Забыла зажмуриться – твоя вина, стой смотри, как тараканы разлетаются по кухне рыжими семечками из переспелого, лопнувшего на асфальте астраханского арбуза. И не визжи, не визжи! Всех перебудишь!

Окно. Квадратный стол, красно-белая клетчатая клеенка со шрамами. Папа забывает... забывал взять доску. Отрезал хлеб прямо на клеенке. Мама на него ругалась. Бабушка его жалела. Устает же. Что поделаешь. Две табуретки по кругу, один стул. Плита – белая, толстобочная, чугунная. Мойдодыр из мультфильма. Так и ждешь, что плита-Мойдодыр сейчас протянет тебе кусок душистого мыла, звонко хлопнет дверцей духовки и крикнет свое: «Кара-барас!» Мама хотела плиту поменять, Бабушка не разрешала. Понятно почему. Плита, как дворовая собака, разрешила себя приручить только одному человеку в семье, Бабушке. Выбрала себе хозяйку. Шла рядом. Рычала на посторонних. *Родненькая* для Бабушки, для всех остальных она была *плитой-убийцей*. Когда Аглая с Вероничкой пытались испечь безе, духовка пережевывала пышное белое облако белков, выплевывала коричневыми коровьими лепешками, растекающимися по противню. Когда мама пыталась приготовить на Новый год курицу, толстая тушка скукоживалась до размеров голубя. Когда тетя Зоя пыталась затеять пирожки, тесто в них всегда наполовину оставалось сырым, липким. «Вы с ней ласково, ласково...» – объясняла Бабушка, хитро улыбаясь. Знала – ни у кого терпения с ее плитой не хватит. Бабушка до миллиметра рассчитывала поворот тугих ручек конфорок: замирала, прислушивалась, кивала, как Трейси Уитни со стетоскопом, вскрывающая очередной сейф. Никто так не умел. Плита – злобная скатерть-самобранка из «Чародеев» – тут же в ужасе бормотала: «Ой, батюшки, не признала! Сейчас! Сейчас! Не извольте беспокоиться!» Безе Бабушке выдавала белое и твердое, курицу – сочной и мягкой, пирожки – ровно пропеченные, никаких жевательных проплешин.

На стене напротив окна – бабушкин сундук с сокровищами, единственное место, куда никто не смел без ее разрешения лазить. Личное пространство советскому человеку не полагалось. Бабушка это уважала, но ящик на кухне себе отвоевала. Деревянный, пузатый, с красной курицей на крышке-гармошке. Хранила в нем самое сокровенное. Кожаный венгерский кошелек, Дедов подарок на рождение тети Зои, с фотографиями Аглаи и Веронички из садика. Аглая в голубом платье, с большим розовым бантом на макушке. Бант был не ее. Бант на заколке прикалывали всем девочкам по очереди, чтобы было красиво и честно. Вероничка – надутая, как хомяк, в красном платьице, с мишкой в руках. Мишка тоже не свой, садовый. На верхней полке ящика Бабушка хранила рецепты на длинных желтоватых перфораторных карточках с бледными рядами единиц и нулей. Мама приносила списанные карточки с работы, из вычислительного центра, Бабушка переписывала на них рецепты из толстого «Домоводства», от тети Зои и из программы «СМАК». Вьетнамский бальзам «Звездочка» в красной жестяной баночке-пуговке. Мятный гвоздично-эвкалиптовый запах. «Звездочкой» мама мазала виски от мигрени, папа – сигареты, получались с ментолом, Бабушка растирала Аглае и Вероничке пятки, когда девочки сопливели зимой, и укусы комаров летом, Деду лечила поясницу от ревматизма. Скланка с крышкой, заклеенная толстым белым пластырем, Бабушкин размашистый почерк: «45% спирт». Друг мамы, хирург, доставал. В спирт обмакивали обмотанный тряпкой факел – ставили при кашле банки на спину. После банок спина была лошадиная, в яблоках.

– Тебе котлетку свеженькую, только поджарила, или сосисочку?

– Котлету. – Аглая из сосисок выросла, раньше любила. Молочные. Розовыми змеиными кольцами аккуратно сложенные в пакете. Тетя Зоя всегда привозила. Бабушка разрезала сосиски на кругляшки, кладом закапывала Аглае и Вероничке в пюре.

На кухонном подоконнике толкались голуби, серые, напуганные. Точь-в-точь тетки в тревожной очереди за сосисками: выпученные глаза, мелко кивающие головы, вечный вопрос в глазах. Что дают? По сколько дают? Вы последняя? Я за вами! «Весь подоконник засрали!» – ругалась мама. «Так тоже ж живые, есть хотят», – пожимала плечами Бабушка.

– Что в школе? – Бабушка перевернула котлету.

– Вот пойду на английский. На фабрике курсы новые.

– На фабрике? Это где тетя Фекла работала? – Бабушка развернулась к Аглае, выпучила глаза, склонила голову набок, стала похожа на сидящего на краю крыши голубя. – Далеко ж, в поселке. – Бабушка обняла крышку кастрюли полотенцем, взяла за ручки, слила. Из раковины вхолостую повалил пар – над таким дышишь, накрывшись полотенцем, когда кашляешь. Толкушка мерно заработала, шматок сливочного масла, щепоть соли, еще шматок масла.

Глаза у Бабушки были синие. Аглае такие не достались, и Вероничке не достались. Ни маме, ни тете Зое, никому. Себе их Бабушка оставила, как кухонный ящик с курицей, дочкам и внукам не передала.

– Мы с Наташкой ходить будем. Вместе.

Бабушка поджала губы, медленно и громко выдохнула.

– Достань масла еще.

Аглая поднялась на коленях на кресле, открыла холодильник, достала пачку «Анкор», протянула Бабушке. Бабушка одобрительно закивала. «Анкор», чудо молочного производства: желтое, жирное, живое, как в детстве, когда масло подпольно у бабы Васи из железного ведра покупали. Дед списывал поганое масло начала 90-х на развал СССР, как, впрочем, и все остальные мировые беды и кризисы. Бабушка только хмыкала. Она бы, не задумываясь, обменяла и паспорт СССР, и паспорт новомодной России на большую пачку добротного новозеландского масла в пятьсот граммов. Бабушка вообще ни в какую власть не верила, но ни с кем не спорила. Кивала и Деду, не терявшему надежду на светлое коммунистическое будущее, и дяде Валере, попавшему под чары Жириновского – четкий человек, пророческие вещи говорит, и папе, который голосовал за «Яблоко», партию ценностей и принципов. С ними, Агуля, давно уже все ясно, одно слово – бесы. Не хочу на них время свое тратить, дьявола прикармливать. У меня вон тесто простаивает.

– С Наташей – это хорошо. Всё не одна... А то на фабрику-то страшно, далеко. Но ты учись, Гуленька, учись, свободной будешь. Вот я недоучилась, всю жизнь...

Что всю жизнь, Бабушка не договорила, достала тарелку с Курочкой Рябой, детскую, любимую. Круглая баба в платке, рыдающий дед в синей рубашке, коричневая курочка. И дед, и бабка, и курица вытерлись, стали бледными, как само детство. Бабушка закапывала в эту тарелку Аглае сосиски: «Ко-ко-ко, ко-ко-ко / Не ходите далеко / Лапками гребите / Зернышки ищите! Курочку спасите!»⁶

Бабушка положила три ложки пюре с горкой, гордо флагом на Эверест водрузила сверху котлету.

– Давай за стол. – Бабушка помедлила секунду, пододвинула тарелку к месту у холодильника. – Давай, давай, – махнула рукой, будто не Аглаю звала, а мошкарку отгоняла.

У окна в обед сидел папа. В васильковой милицмейской рубашке. Каждый день приходил домой обедать. Тарелка Бабушкиных домашних пельменей, ломоть хлеба, чашка чая с пятью ложками сахара. Мама ругалась, что никто пельмени с хлебом не ест. Папа ел. Но где-то в другом месте теперь. Дома он не обедал. Где он обедал или хотя бы где он теперь жил,

⁶ Из песни «Цыплятки» («Вышла курочка гулять...»). Автор текста Т. Волгина.

Аглая не знала. Никто не говорил. Она не спрашивала. Папа заведовал отделом расследований в милиции. Все время пропадал на участке. Единственный оказался с высшим образованием, его сразу стали продвигать. С каждой новой звездочкой на погонах приходилось все больше работать и еще больше пить. Будучи майором, папа неплохо держался. Не спиться ему помогла активная социальная и спортивная жизнь: он тренировал местную футбольную команду «Динамо», ездил на рыбалку и зимой, и летом, на местном телевидении вел программу «Исторические заметки», где воодушевленно пересказывал Соловьева, Пикуля, Стругацких. Аглая не сразу заметила, что папа с ними больше не живет. Он все время уезжал куда-то. А как заподозрила – рыбалка все-таки две недели длиться не может, – было уже неудобно спрашивать. Столько времени прошло. Да и у кого? Мама с Бабушкой упорно делали вид, что ничего не случилось. Всё как всегда. Папу они не упоминали. Аглая начала сомневаться, что он вообще был.

– Спасибо. – Аглая вымазала остатки картошки черной горбушкой.

– На здоровье! Агуля, ты в поселке мне смотри поаккуратнее, ни с кем незнакомым не разговаривай, в машины чужие не садись! Если что, громко кричи и беги. Поняла меня?

Аглая все прекрасно поняла. Как Союз развалился, мир перестал быть безопасным. «В подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок...»⁷ Аглая взяла в коридоре пожелтевший телефонно-адресный справочник, открыла карту. Весь город помещался на одном развороте. Город человеческого размера, как говорил Дед, не то что ваша Москва. Центр с валом. Первомайка, улица Горького, железная дорога, спальные районы, Пименовка, Горводокачка, Турбаза. Мама мечтала, что им дадут свою квартиру на Турбазе, так и не дали. Жили с Бабушкой, зато почти в центре. Аглая отыскивала адрес заброшенной носочно-чулочной фабрики: Третья Садовая, 34/2. По Горького вверх, на холм. Тетя Фекла там тридцать лет проработала, пока фабрику не закрыли в перестройку. У них на фабрике жил кот Носок. Носок был полосатый и все время спал в кресле директора. Тетя Фекла его себе домой забрала, как их всех сократили.

* * *

Бесчувственный подмосковный бог разрезал год на месяцы впопыхах, покромсал кое-как да и бросил. И так сойдет! Лето беспомощно хватало ртом воздух, пытаясь слепо нащупать так и не выпавшую кислородную маску, уже в августе. Зима крепла весь октябрь, а к началу ноября бабой Надей бесцеремонно вваливалась в город, усаживалась пышным снежным задом, сидела до апреля, даже не думала вставать. Вечно всем недовольная, вечно всех критикующая, беспросветная и холодная. Все черт-те как, неровно, негладко, прыщевато. Швы было видно, нитки торчали. Трудовичка бы за такую работу вlepила трояк. Кто так швы строчит, Дымова? У тебя откуда руки, прости за вопрос, растут?! По мнению трудовички, руки у нее росли из той самой метафизической жопы. Ну и пусть! Она любила все это, природное, дурно скроенное, наспех сшитое, рукотворное.

Любила воробынью весну. Простыни горькой черемухи, про которые папа пел под гитару. Лилово-миндальный запах кудрявой сирени. Бабушка непременно наломает охапку во дворе, засунет в водку настаиваться, потом им ноги с Вероничкой растирает, когда болят. Венки из одуванчиков. Руки плетут венки сами, как волшебное веретено: скрестить, обернуть, продеть, скрестить, обернуть, продеть, и вот у тебя на голове уже горько пахнущий венец-оберег, никто не тронет!

Любила короткое, но такое длинное, сладко-медовое лето. Пряное, легкомысленное, свободное. Все можно! Всё жизнь! Хоть целый день на улице! Бегай в казаки-разбойники, гадай ложные стрелки! Прыгай в козла в торце дома. Мяч летит высоко, выше всех! Закапывай сек-

⁷ Песня «Утекай» группы «Мумий Тролль». Автор текста И. Лагутенко.

ретики под изумрудным бутылочным стеклом – маргаритка, бусинка, блестящий фантик от конфеты! Прыгай до ночи в резиночки – пешеходы на первых, пешеходы на вторых, двадцать по два на третьих, а четвертые – четвертые только Аленка прыгает! Устраивай магазин на лавочке: «Вот, купите огурцы-осиновые-сережки! Только привезли! Или не желаете свежего печенья из подорожника?» Все коленки в зеленке, разодраны до кости, и абсолютное счастье, про которое, как про секретик под березой, сладко вспоминаешь весь год.

Любила связанную крючком тягучую белую зиму, когда думаешь, что лета-то никогда и не было и, наверное, уже не будет. Зима вечная. А потом выйдешь во двор, а дядя Стёпа немилиционер с папой залили ночью каток, гладкий, сияющий, новенький! Черт, коньки с антресоли! Быстрее! Дед, быстрее, неси табуретку, я хочу быть первая!

Любила разнузданную рыжую, заштопанную кленовыми заплатками осень. Особенно сентябрь. Как сейчас. Прелый, бисерный, одержимый своим скорым концом и оттого буйный, страстный, живущий в первый и в последний раз. Осень еще была совсем одета. Не просто одета – разряжена, яркой куклой-чайницей в золотом кокошнике, в пышной красной юбке, в белой сорочке, сложив на груди руки, восседала, улыбалась. Суставы кленовых листьев, жирные, прочные, еще верили, что жизнь навсегда, что смерть придумали завистники, что нет ее, смерти, держались за ветки, шептали друг другу во сне: «Не отпущу! Не отпущу! И ты меня не отпускай!» Сентябрьский терпкий морок заставлял их верить, что это навсегда, и нет, нет, именно их дерево никогда не опомнится, не проснется, не отряхнется только выбравшимся из речки псом. Да, они вечные, и ты вечная.

Пустынная улица Горького была засажена каштанами. До фабрики можно было добраться и по местному Арбату, Первомайке, широкой, пешеходной, шумной и нарядной. Но Аглая Первомайку не любила, как московский Арбат. Ездили они на Арбат с классом. И что? Толпы туристов, вымпелы с предателем Лениным, ободранные пластиковые складные столы с коврами вдоль всей улицы, кроличьи шапки-ушанки, голодные бродячие собаки, пошлые матрешки с лицами костюмных мужиков, военная форма. Даже медали продавали. Те самые, что Дед, высокий, гордый, красивый, надевал каждое Девятое мая на синий китель. Аглая с Вероничкой любили медали рассматривать и про каждую истории слушать. «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». «За взятие Вены». Юбилейные. «Двадцать лет Победы». «Тридцать лет Победы». На Арбате медали на пластиковых складных столах выглядели невпопад, безжизненно. Понимали, что не место им тут, но ничего не могли поделать. Такая судьба. В Москву Аглая ездила с классом регулярно, в театр, повышать культурный уровень. Культурный уровень повышался вяло. Подмосковным школьникам доставались билеты на самые тягомотные, тухлые спектакли, на которые москвичи сами не ходили. Режиссерам было скучно их ставить, актерам скучно играть, детям скучно смотреть. Аглая смирилась: театр – это мешок, школьники – опилки. Аглая в Москве любила только метро. Мраморное, широкое, со сладко-мазутным запахом шпал, железа, туннельной пыли. Запах хотелось втянуть носом, наполнить им легкие, живот, задержать дыхание, нюхать по чуть-чуть, чтобы до следующей поездки хватило. Аглая страшно завидовала тем, кто живет в Москве и нюхает метро каждый день.

По левой стороне Горького скалились беззубые двухэтажные бараки, страшные, грязные, с осыпающимися штукатуркой фасадами. В одном из бараков жила Настька, Наташка рассказывала. Аглая держалась от бараков подальше, шла по правой стороне, парадной: гастронном, школа, панельки. Панельки. Так их нараспев называл Дед, ласково, нежно, по-детски. Панельки Деда любили, верили ему. Нет, мы не безликие, серые, тонкокожие коробки. Мы детские разноцветные карамельки, панельки-карамельки. Снежок с хрустящей начинкой, кислый «Дюшес», коралловые барбариски, «Раковые шейки», пугающие тебя своим названием, а на самом деле звонкие, сладкие, миндальные. Деда комиссовали после службы в Венгрии, дали в панельке квартиру, свою собственную, без подселения, большую, пятьдесят два метра,

трехкомнатную. Там они все до сих пор и жили, в панельке-карамельке: Дед, Бабушка, Аглая, мама и... всё. На каникулы приезжала Вероничка. На праздники – тетьа Зоя и дядя Валера. А летом с мешками неправдоподобно жирных семечек размером с глаз Дедовы родственники из Новоанновки. Квартира всегда всех размещала, магически расширяла пространство.

На торце панелек то тут, то там возникали гигантские мозаичные панно с героями русских сказок: Красная Шапочка, Конек-горбунок, Репка, Золотая рыбка, Гуси-лебеди. Левиафанские, пышные, блестящие. Аглая тянула Деда за руку, чтобы пойти долгим путем с лягушатника, посмотреть. Улице Горького в причудливой лотерее распределения мозаик достался Колобок. Лыбящаяся лиса-мутант, радостный зубастый (почему зубастый?) Колобок, точь-в-точь Кирюша, косоглазый заяц-переросток размером почти с волка, жалкий, совсем не страшный волк.

Поселок на окраине города начинался сразу за окружной дорогой, на холме. Панельки там не строили. Вдоль широкой пыльной дороги нахохлившимся курами, как на насесте, дремали частные дома. Деревянные заборы, желтеющие кусты сирени, покосившиеся облупленные табуретки. На табуретках, закинув ногу на ногу, курили мужики. Резиновые сапоги, семейные трусы, расстегнутые до солнечного сплетения растянутые мятые рубашки, униформа закольцевой дороги. Такую в универмаге не купишь, требуется лет пять активной носки, еженедельная стирка в «Вятке»-автомат и месяцы пропалывания огородных грядок.

Наташка сказала, третий поворот. Щебень пылил кеды. Асфальта в поселке не было. Откуда? В городе все дороги в колдобинах, кто ж в поселке будет асфальтировать?! Аглая поехала. Неуютно, одиноко, как за гаражами. Первый поворот. Второй. Третий.

Шарахнулась.

Дорогу перегородила жирная дерганая птица с головой кэрролловского додо и туловищем распухшей до размеров бочки черной курицы Погорельского. Хозяйка переулка Аглая не обрадовалась, мотнула свекольным ожерельем, бородавчатым, доисторическим, взвизгнула, вскинула мощные крылья, махнула, да так сильно, что волна пыльного воздуха ударила голые коленки. Черт! Сейчас цапнет! Птица гугукнула, подскочила, как ниндзя, выкинув вперед крепкие ноги в бархатных бриджах. Почти достала. Вот же! Аглая успела отпрыгнуть, не завизжала, только руки отдернула, будто обожглась. За спиной от души заржали мужики на табуретках. Птица застыла, сделала шаг назад, склонила набок слишком маленькую для столь упитанного тела голову в голубой маске, уставилась Кашпировским, глаза в глаза. Секунду помедлила, потрянула хвостом – японским веером, нервно, ритмично выкидывая вперед шею, заверещала: «Вон! Вон! Во-о-он!» Господи! Это же царица мясного отдела гастронома тетя Галя! Ночной кошмар города. Аглая моргнула, ринулась вниз по переулку. Ни разу не обернулась. Оказавшись у фабрики, лихорадочно дернула скрипнувшую железную калитку, влетела во двор. Сердце колотилось, будто она у тети Гали палку Клинской сырокопченой колбасы стащила и удрала. Мужики остались далеко. Только их ржач до сих пор раздавался в голове. Перевела дух, выглянула за решетку. Птица и не думала за ней гнаться, довольно прохаживалась туда-сюда. Отвоевала.

* * *

Двухэтажная носочная фабрика, заброшенная после развала Союза, удивительно хорошо сохранилась. Выстояла. Ее не разобрали, не зассали, даже стены разрисовать из баллончика – современное искусство зрело под кожей страны, как чирей, много лет и наконец лопнуло, разлилось гноем граффити – не успели. Чистое, ладное двухэтажное здание из красного кирпича. На крыше – вышка сотового оператора. В городе появился новый доходный бизнес – сдавать помещения. Сдавали всё, от подвалов до пожарных лестниц. Снимали тоже всё. Вот и крыша кому-то пригодилась.

Железная дверь. Все, у кого хватило денег, такие поставили. Развал Союза открыл портал святочной нечисти. Ответственный за закрытие портала, видимо, эмигрировал куда-нибудь в Германию или Израиль вместе с ключом. Спившиеся ведьмы, оборотни-наркоманы, черти-домушники, ветшицы-цыганки, шаликуны-мошенники теперь бродили по русской земле ошалелые, опьяненные, не соблюдая ни графика литургического календаря, ни субординации. Свободы всем даром и пусть никто не уйдет обиженным!

Фабрика, снаружи скучная, привычная, советская, внутри обернулась Царевной-лягушкой. Не узнал меня, Иван-царевич? Met you by surprise. Не фабрика, а французский коллеж, столь же сказочный, как и тридевятое царство. I didn't realize. Тот самый, в который ходила Вик из «Бума». That my life would change forever. Белые стены. Запах свежей краски. Dreams are my reality. Яркие плакаты-постеры. The only kind of real fantasy⁸. Пробковые доски с объявлениями. Аглая вертела головой, как в парке Горького. Она что, в кино?

– Ты новенькая? – Маленькая юркая женщина со вздернутыми, удивленными густыми бровями и массивным коралловым ожерельем поверх темно-синего костюма-двойки окликнула Аглаю. Не дождавшись ответа, представилась: – Светлана Сергеевна, администратор, завхоз. Зови меня тетя Света. Меня все так зовут. А ты?..

– Аглая.

– Глаша, значит! Глашенька, давай. – Тетя Света кивнула на длинный темный коридор: – Тебе сначала вон в тот кабинет, к директору. Он тебя протестирует, а потом сразу ко мне, выдам учебники, расписание... Парамонов, стой! Опять без сменки?! – Тетя Света сделала большие глаза, отчего ее брови подпрыгнули до линии волос, еще раз кивнула Аглае на темный коридор и бросилась догонять кучерявого мальчика, удирающего на второй этаж.

Аглая сглотнула, потеряла запястье. Сменку забыла. И про тестирование Наташка ничего не говорила. Она же не готовилась совсем. Английский за пять лет обучения в школе далеко от «Hello, my name is Aglaya! Nice to meet you!» не продвинулся. Уроки вел Крот, угрюмый, молчаливый, с крошечными впритык посаженными глазами и острым носом. Крот ходил в одном и том же сером пиджаке, пах скисшим супом, на уроках не разговаривал. И они не разговаривали. В начале урока Крот задавал переписать очередной текст «London is the capital of Great Britain» из книжки топики в тетрадку, а сам молча, близко поднося к мышинному носу листок бумаги, выводил муравьиным почерком на доске иероглифы транскрипции, которые никто не понимал, даже он сам. Своего кабинета у Крота не было, занимались в коридоре, рядом с трубами. В полной тишине. Молчишь, переписываешь – получаешь пятерку, болтаешь – схлопочешь кол. Крот единственный в школе использовал систему оценивания на полную катушку: от единицы до пятерки, по колено и без того скудную советскую пятибалльную шкалу не рубил. Другие учителя ниже тройки никогда не ставили. Жалели, наверное, да и валандаться с второгодниками не хотелось. В кротовой коридороноре всегда стояла идеальная тишина. Даже Настька не хихикала. Как корова, медленно двигая мощной челюстью, жевала мятную жвачку, переписывала. Настька, правда, переписывала не английские тексты про политическое устройство Соединенного Королевства, а заполняла бесконечные школьные анкеты. Прошу тетрадь не пачкать. Листы не вырывать. Маленьким детишкам в руки не давать. Аглая посмотрела в коридор. Не нужен ей никакой английский, нечего позориться. Развернулась идти назад, но не тут-то было. Тетя Света преградила ей путь, одним глазом присматривая за Парамоновым, схваченным и доставленным в холл переодевать сменку.

– А ты куда собралась?! Вон туда. Давай, давай, хвост пистолетом! – Тетя Света выпихнула Аглаю в темный коридор, индюком встала в проходе, звякнув коралловым ожерельем, сложила руки на груди. Не пущу. Иди.

⁸ Песня «Reality» Ричарда Сандерсона, вошедшая в саундтрек фильма «Бум» (1980). Реж. Клод Пиното.

Аглая вцепилась в лямки рюкзака. Пошла. Темно-синяя дверь с железной табличкой Director Dr оказалась в самом конце коридора. Дойдя до двери, Аглая снова захотела тихонько удрать, но тетя Света погрозила ей из прохода пальцем: не смей, а потом подняла кулак, постучала о воздух, будто Аглая и стучать не умела. Аглая хмыкнула: умела она стучать, что ж она, совсем, что ли, и уверенно постучала.

– Да. – Голос был мужской, низкий, слышался через дымку, словно марлей в несколько слоев обмотанный.

Аглая дернула ручку – дверь не поддавалась. Обернулась: тетя Света, и что теперь? Но тетя Света, как назло, исчезла. Аглая поджала губы, нахмурилась, постучала еще раз.

– Да заходите же! – повторил низкий голос в марле.

Аглая толкнула дверь. Ничего. Да что ж такое! Оперлась плечом о холодный металл, сжала ручку. По телу прыснули мелкие мурашки. Аглая вздрогнула. Кед соскользнул. Плитка под ногами чиркнула. Фабрика вдруг опомнилась, встряхнула каменными плечами: «Я ж кверху ногами стою!» Начала было переворачиваться с пола на потолок, но не успела. Дверь лязгнула, широко распахнулась чем-то ярким и синим. Аглая зажмурилась, полетела вниз, но не упала. Янтарный яблочно-мальвовый запах подхватил ее за локти, удержал. Мальва растет у Деда на даче, у недостройки, в сорняках и мусоре. Беспринципный цветок-невеста с обгрызенными кружевными листьями. Его улитки любят. Дед мальву специально не сажает. Мальва к ним с соседского участка от Юрьича каждый год забирается. Самовольно переходит границу.

– Поймал! – Марлевый голос засмеялся, тихо, внутри себя, громче не стал.

– Простите. – Аглая оперлась о синее, мягкое, поднялась, сделала шаг назад, задрала голову. Она была директору по плечо. Почему-то очень захотелось пить, упасть на колени, окунуть голову в звонкое железное ведро и пить сладкую колодезную воду большими глотками, как Иван в первом сне, когда он тоже летал и был бабочкой. Во рту было так сухо, что даже сглотнуть не получалось. Сухощавое сентябрьское солнце держало затылок директора на прицеле толстым, полновесным лучом.

– Ну, здравствуй, Суок! – Директор, крепко держа Аглаю за плечи, куклой поставил ее на место. Стой! Не падай! Стоишь? Держишься? – Он сделал шаг назад, прищурился, оценил, хорошо ли поставил, прочно ли, отпустил, улыбнулся и тут же сделал неправильное – протянул Аглае правую руку для пожатия. Линии на большой ладони были четкие, словно их прорезали толстой леской на пластилине, а потом леску так и не убрали, оставили. – Ну что же ты! Давай знакомиться. – Директор тряхнул ладонью.

Нужно пожать, сообразила Аглая. Папа Егорычу руку пожимает всегда. И Дед – Юричу. Аглая посмотрела директору в глаза, крепко сжала руку – наверное, так. По телу бенгальскими искрами брызнуло тепло. Кольнуло пятки. Аглая наконец сглотнула, слюны во рту стало неожиданно много.

– Как тебя зовут?

– Аглая. Я на тестирование, на английский.

Руку он не отпускал, держал.

– Ну проходи, Аглая, на тестирование. Хорошее, крепкое рукопожатие у тебя, это важно.

Голос из марли звучал как в волшебной пещере в Алуште. Вероничка тогда шептала в каменное окошко в скале, а Аглая на другом конце все, все слышала. Вот Вероничка втягивает носом воздух. Вот смеется. Вот зовет: «Гага, Гага! Ты меня слышишь?» Ушам щекотно и весело.

Аглая зашла в просторный пустой кабинет. В нем пахло книгами. Не русскими. Русские книги пахнут пожелтевшим клеем, чернилами и только что вскопанной землей с дождевыми червями. Здесь запах был новый, незнакомый: сухой, древесный, с нотками набухших перезрелых до чересчур сладкого повидла под тонкой, но уже отвердевшей кожицей груш.

– Не обращай внимания. – Директор проследил за Аглаиным взглядом. – Мы в прошлом году только выкупили это здание. Ремонт заканчиваем, переехали летом. Обустраиваемся. Ты садись, Аглая. – Он кивнул на кресло возле заваленного распечатками стола. На кого он похож? – Значит, ты, Аглая, девочка с крепким рукопожатием, пришла изучать английский?

Аглая хотела рассказать про Наташку, про Крота, про тетю Свету, которая велела ей сюда прийти, но мысли осокой застряли в велосипедном колесе, запутались в спицах. Упершись руками в руль, она жала всем весом тела на педали, хмурилась – все напрасно, колеса поскрипывали, но не прокручивались. Аглая просто кивнула.

– Отлично! Начнем с небольшого тестирования. – Он порылся в распечатках на столе, вытянул листок А4, положил перед Аглаей. Из нагрудного кармана достал черную ручку, протянул.

Жми, Аглая, жми! Педали скрипели. Опять пересохло во рту. Тест. Аглая уставилась на ручку, не понимая, что с ней делать.

– Да ты не бойся! – Директор привстал, перегнулся через стол своим мальвовым запахом, сочным, июльским, многоцветным. – Знаешь, Аглая, я людей вижу насквозь, рентгеновским снимком. – Он сделал паузу, провел открытой ладонью вверх-вниз, сканируя воздух. – Есть у меня такая суперспособность. И вот я вижу, что ты, Аглая, знаешь гораздо больше, чем думаешь. – Он откинулся назад на стуле. – Давай сделаем так. Чтоб ты не переживала, я выйду на пятнадцать минут, отдам Светлане Сергеевне учебники для новых групп, разберусь с расписанием. А ты сиди, пиши спокойно. Ни о чем не переживай. Вернусь, решим, в какую группу тебя определить. Может, мне повезет и ты попадешь ко мне. – Директор скрестил указательный и средний пальцы на правой руке, спрятал за спину, подмигнул и, взяв охапку распечаток со стола, вышел.

Аглая заерзала на стуле, проверила, на месте ли он. Взяла черную чудо-ручку. Американская. Alexander. US Embassy. Moscow. Модная. Щелкнула кнопкой. На строчке Name вывела своим правильным, петлистым, почерком: «Аглая». Почему-то по-русски. Черт, вот дура! Аккуратно зачеркнула, написала по-английски: Aglaya. На столе щелкнули часы. Белые. Точь-в-точь как в «Дне сурка». Panasonic RC-6003. «Засони, подъем! И не забудьте надеть теплую обувь! На улице холодно! У нас всегда холодно!» С одной стороны – радио. Band. FM. AM. С другой – чешуйчатые веки цифровых глазниц. Верхняя чешуйка минутной шестерки упала, сменилась семеркой. Аглая вздрогнула. Черт! Черт! У нее всего пятнадцать минут!

Первое задание. Прочитать текст. Аглая облегченно вздохнула. Они только и делали, что читали с Кротом тексты на уроках. Облегчение моргнуло два раза, испарилось. Текст оказался совсем не похож на топики в школе. Аглая читала его, но смысла не понимала. Что-то про яркий солнечный свет, что-то про темноту, что-то про Пола Ньюмана. Еще там был мальчик. Почти красные волосы. Почему красные? Зелено-серые глаза. Как у нее. Подмышки у Аглаи вспотели. Ни в какую группу она не попадет, конечно, ее вообще сейчас отсюда выгонят. Аглая пыталась выстроить слова в понятное, осязаемое, но значение текста от нее ускользало, соплями прилипало к нёбу, не отхаркивалось. Тру? Фальсе? В мозгу будто разлили жирное деревенское молоко. Не жидкое, водянистое, магазинное. А как в детстве, молоко – сладкую сметану. Ничего было не видно. Часы перещелкнули с нуля на кротовскую единицу.

Второе задание. Тест на времена. Аглая обвела ответы наугад. Молоко в мозгу, скисая, густело. Прозрачная сыворотка опускалась вниз. Что-то мерзко желеобразное, белое забивало все каналы восприятия. Буквы путались. Переставали читаться. Часы удивленно, часто моргали. Зачем она пришла? Что она тут делает? Когда ставится – ing?

Задание номер три. Write a little text about your hobbies and what you love. Аглая вздохнула. Хоть тут повезло! Они такой топик учили наизусть, сдавали в прошлом году. «95 тем по английскому языку». Крот слушал прикрыв глаза, звучащая речь доставляла ему физическую боль. Аглая уверенно вывела: 'I specialise in the humanities. Social sciences and English have always

been my favourites, but my chief interest is law'. Потом подумала и вычеркнула фразу про «лау», это же что-то про юристов. Часы щелкнули в последний раз, замерли на двойке – услышали шаги хозяина, подсказали ему Аглаину оценку. Аглая положила ручку на тест, выпрямилась, прижала руки поближе к телу, спрятала потные подмышки.

– Ну как ты тут? Справилась?

Директор в руках держал цветы. Не мальву, мощные кукурузного цвета гладиолусы, цветы с ослиной челюстью. У Деда росли белые и розовые, с бутонами-кисточками вверху шапки, ростом с Вероничку. Цветы на первое сентября.

– Светлана Сергеевна привезла с дачи, велела поставить. – Он водрузил трехлитровую банку с гладиолусами на стол. – Красивые, но бесполезные. Хотя, знаешь, в Древнем Риме их любили, носили луковицу на груди. – Директор прижал ладонь к сердцу: – Вот здесь. Амулет, защищающий от сердечных ран.

Он взял Аглаин тест, быстро пробежал по нему глазами, кивнул. Right! Not too shabby! Щелкнул черной ручкой, что-то написал на тесте, вручил обратно Аглае.

– Я тоже люблю английский, Аглая, и не люблю законы. Люблю все красивое, теплое и бесполезное. А ты говоришь, ничего не знаешь. Посмотрим, куда тебя определить. Думаю, на красном уровне у Ольги Федоровны тебе будет скучно, конечно, а вот на оранжевый к Маргарите Антоновне или на желтый ко мне, это мы решим. Но... – Он подошел к шкафу, достал отпечатанный на кофейной бумаге учебник. – Грамматика, Мёрфи, наша с тобой библия, повтори дома пять первых юнитов. У нас три недели ориентировочных занятий. Сумеешь подтянуться быстро – я тебя возьму к себе. Уверен, ты справишься. Держи! Расписание у Светланы Сергеевны. Не опаздывай. Не пропускай. Учю только тех, кому интересно. Но ты, если вдруг ко мне не попадешь, не расстраивайся. Договорились? У нас все учителя отличные! – Он вытащил из банки гладиолус, протянул Аглае: – Пусть тебе будет красиво учить английский. И еще вот... – Директор порывлся на столе. Достал кислотно-зеленый пакетик с конфетами. Не русский. – Тяни. Sour Patch Kids. Смешные американские мармеладки в форме марсиан.

– Спасибо. – Аглая достала из пакетика голубого марсианина с выпученными глазами.

– Ну, пока, Аглая. Больше не падай. Просто постучи, я открою. Вот так. – Он взял ее ладонь с марсианином в свою, по одному загнул пальцы, накрыл кулак второй ладонью, постучал в воздухе. Кивнул на дверь: – Давай! Я на тебя рассчитываю.

Аглая вышла. Выучить пять юнитов. Он на нее рассчитывает.

В третьем кабинете тетя Света вручила ей квитанцию на оплату, еще две коричневые распечатки, записала полное имя, домашний телефон, велела расписаться.

– У меня нет подписи. – Аглая быстро запихнула учебники в рюкзак, будто боялась, что тетя Света заставит их сдать обратно, раз подписи нет.

– Ну, нет и нет, напиши фамилию просто. Да положи ты гладиолус, что ты в него вцепилась?

Аглая вывела свою фамилию, Дымова, выпуская из рук гладиолус, попрощалась с тетей Светой, вышла.

На улице смеркалось. Худой черный фабричный фонарь-флейта выдувал стеклянные ноты: до-до-до-до. Перед воротами Аглая обернулась. В кабинете директора на первом этаже горел свет, но за изумрудными занавесками ничего не было видно. Гудвин. Он похож на Гудвина, поняла Аглая. Великий и ужасный волшебник, которого никто не видел. В этот момент Гудвин, будто почувствовав, что обрел имя, отодвинул занавеску, поймал взгляд Аглаи, улыбнулся. Аглая моргнула и быстро, как Парамонов от тети Светы, побежала к воротам.

Аглая не запомнила, как дошла до дома. Перед подъездом она остановилась. Ладонь, которая оставалась сжатой всю дорогу, застыла раковой клешней. Аглая один за одним медленно вытянула онемевшие пальцы. На липкой, усыпанной сахаром ладони лежал голубой марсианин, пучил на нее глаза. Аглая поднесла ладонь ко рту, слизнула марсианина. Резко, кисло

ужалило язык. Аглая нахмурилась. Так бывало, когда Бабушка, хитро улыбаясь, смотрела на них с Вероничкой, маленьких, сверху вниз и говорила: «Агуля, Вероничка, леденцы!» Аглая хватала красного петушка на палочке, засовывала с разбегу в рот... а когда открывала глаза, понимала, что носы у них с Вероничкой сморщены гармошкой. Вкус у леденца был не леденечный, а вяжущий, жгучий, с кислинкой. Бабушка лукаво подмигивала: «Маточное молочко, Агуленька! Вкусное, Агуленька, вкусное. Ну да, кисленькое чуть-чуть, зато поле-е-езное какое. Я только на краешек капнула... Вот такую капельку! Будете есть маточное молочко, Агуленька, вырастете большие и сильные. Волшебное оно, маточное молочко-то, волшебное...»

Глава вторая

Маточное молочко

Аглая в детстве ничего не боялась. Только утонуть. Однажды чуть не стала головастиком. Дед таскал их с Вероничкой летом на дачу. Чего в пыльном городе сидеть? Добирались на восьмом автобусе. Удобно. Остановка в пяти минутах от дома, рядом с магазином. Выходили – нет, не выходили, выбегали – всегда впритык. Дед никогда никуда не выходил вовремя. Никогда никуда не спешил. Он знал: его дождутся. Его и правда всегда ждали. Аглае и Вероничке дедовское спартанское спокойствие не передавалось. Увидев на остановке длинный белый похожий на жука автобус с красной полосой на брюшке, они пускались со всех ног. Дед и шага не ускорял. Даже когда автобус закрывал двери и, чихнув, трогался, Дед спокойно, уверенно, как Чапаев, выкидывал вверх и вперед руку и командовал:

– Жда-а-ать!

Машины, споткнувшись, испуганно тормозили на пешеходном переходе. Море волнуется раз! Водитель автобуса в кепке-блинчике бросал руль и вместо того, чтобы отчитать Деда, вытягивался палочником из окна, отдавал честь и, выжав педаль тормоза времени, так и зависал. Море волнуется два! Время покорно останавливалось. Море волнуется три! Дед широким шагом, насвистывая, переходил дорогу, запихивал раскрасневшихся, но счастливых – успели! – Вероничку и Аглаю в заднюю дверь автобуса, кивал, оглядываясь на хвост из автомобилей, разгадывал морские фигуры. Дельфин! Медуза! Краб! Дед был лучший на свете вода. И лучший на свете Дед.

– Быстрее, пионёрки! Быстрэ-э-э-е! Не задерживаем общественный транспорт Советского Союза! В коммунизм на опоздавшем автобусе не доедешь!

Дед втягивал себя, как на турнике, внутрь, отечески хлопал автобус по двери. Махал водителю. Семь футов под килем, капитан! Время оживало, трогалось, покачиваясь из стороны в сторону, ехало дальше, на дачу, со всеми положенными по расписанию остановками.

Деду никто не перечил. Все его слушались. Было в нем что-то, вызывающее в людях покорность. Пассажиры, поджав губы, конечно, зыркали на них, но молчали. Сразу было ясно: спорить с Дедом себе дороже.

– Билеты, – просыпалась, широко зевнув, кондукторша в синем болоньевом плаще. Всегда одна и та же. Шла с коричневой брезентовой сумкой на шее в комплекте с восьмым автобусом, как гаечный ключ в железном конструкторе. Взбитая, как белковый крем, пергидролевая челка выпрыгивала из-под красного берета.

Аглая и Вероничка испуганно молча вжимались спиной в Дедовы ноги, старались не смотреть на табличку «Совесть пассажира – лучший контролер». Дед спокойно задвигал их в угол автобуса, разваливался на заднем поручне, как на заборе, заслонял.

– Этим девочкам... – Он делал долгую паузу, пронзая немигающим взглядом теребящую моток билетов на ремне кондукторшу. – Билет не нужен! Эти девочки... – Дед поучительно тряс толстым указательным пальцем. – Из пионёрского лагеря «Орленок»!

Фраза про пионёрский лагерь «Орленок» Аглаю озадачивала. Аглая с Вероничкой ни пионерами не были, ни в лагерь никогда не ездили: ни в «Орленок», ни в Артек, ни в захудалый лагерь работников фрезерного завода, где, как рассказывали, однажды утонул мальчик. Кондукторша качала выдающейся взбитой челкой, тоскливо чмокала, убирала руку с мотка билетов, гладила, успокаивая, свою сумку, как беременная – живот, махала на Деда рукой. Видимо, знала про льготы тайного общества «пионёрских» лагерей.

Ехать до дачи было минут тридцать и еще столько же идти пешком. Сначала по полю (рожь, пшеница, синие колокольчики вот-бы-такой-формы-себе-платье, бессвязное сварливое

свиристение кузнечиков: пинь! пинь! пинь! что? что вы хотите сказать? я не понимаю!), а потом по лесу (как зайдешь, тебя тут же оранжевоклювые дрозды приветствуют: фю-фю-фи-фу-фи-фу, свистят на флейтах, а ты изо всех сил втягиваешь носом запах мха, хвои, мокрой земли, а в глубине леса – пряный абрикосовый аромат, ни с чем не спутаешь – лисички пошли!).

Садовое товарищество пряталось за высоким покосившимся бетонным забором с ромбиками – оптическая иллюзия как архитектурный манифест. В заборе мерещились то воздушные змеи, то пухлые греческие амфоры, то кривовато собранный кубик Рубика. Забор каждый год закрашивали яично-желтой краской, каждый год кто-то настырный неотступно писал на нем: «Люся, стыдно, когда видно!» Кто такая Люся, что у нее видно и почему ей должно быть стыдно, оставалось загадкой.

Как только ты оказывалась по ту сторону, лес сменялся садом. Ясноглазые яблони, кусты сахарной красной смородины, охровые облака облепихи, тлей присосавшиеся к веткам-невидамкам. Мощные черешки сиреневых люпинов, размером с Аглаю. Роскошные розовые сердца дицентры – вот бы стащить пару цветков для наряда Королевы Червей, девчонки обзавидуются! Желтые гроздья ослинника с лепестками-крылышками бабочек-лимонниц. Пестро-острые астры, каждая – яркий шерстяной клубок, тетя Зоя о такой пряже и не мечтает, не купишь. Затерянный в подмосковных прериях райский сад. Никто про него не помнит. Никто не знает, что он есть. Дожди там идут сиренью, снег – пухом одуванчиков, а время не идет вовсе, стоит цветущей сине-зелеными водорослями водой в пруду.

Их дом у самого леса, на краю, в дачную идиллию не вписывался. Дом, как Дед, ни на что не был похож. Недостроенный, двухэтажный, выше остальных на целую голову, с плоской гудронной крышей, на которую Вероничка и Аглая вытаскивали старое, сбившееся клоками одеяло и загорали. Дом стоял в вечных лесах, уже и сам не надеялся, что его когда-нибудь достроят, вынут из ходунков, отпустят бегать самостоятельно. Мама и тетя Зоя на Деда ругались. Аглая и Вероничка радовались – леса точь-в-точь повторяли испытание «Карниз» в «Форте Боярд»! Рассохшиеся деревянные брусы в одну детскую ступню. Широкие доски, прерывающиеся в самых неожиданных местах – зависнешь на одной ноге на такой, по всему телу бешеные будоражки скачут. Ключ вешали с торца дома, добираться до него было лучше не спеша – алле! алле! – держась растопыренными руками о воздух. Упадешь – угодишь в кусачую, косматую, как пес, крапиву.

По всему деревянному дому из потолка черными обрубками-пучками торчали электрические провода. Дед отказался платить взносы в СНТ, ему отказались подключать электричество. На проводах-обрубках Дед сушил в целлофановых пакетах хлеб – подкармливать лис и кабанов в лесу.

Входная дверь закрывалась на гвоздь-крючок. Соседи крючок вынимали, сваливали Деду жалко-выбросить хлам: голубую печатную машинку, у которой заклинило половину клавиш; железный хромо́й стул цвета солдатской формы; велосипедное колесо со спущенной шиной. Аглая и Вероничка таскали со свалки инвентарь для игр. На сломанной машинке печатали работающими клавишами подсказки старцу Фура. Из хромого стула сооружали пиратский корабль, который по очереди захватывали: «На або-о-ордаж!» Старое велосипедное колесо приспособили под телепортатор, работал безотказно. Хочешь – воюй с роботами-вершителями на планете Вариана созвездия Кассиопея. Хочешь – смазывай маслом попавших в беду обитателей планеты Железяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами⁹.

Тишина на участке стояла идеальная. Все звуки дачного садового товарищества прятались в пруду. Пруд рокотал лягушачьим криками, угукал далеким зовом невидимой кукушки, лопал пузыри от катающихся на коньках длинноногих водомерок – буль! Пруд был огромный,

⁹ Из мультипликационного фильм «Тайна третьей планеты». Реж. Р. Кочанов.

до того берега ни за что не доплывешь. Дед видел еще, как пруд копали. Глинистый, с пластилиновыми берегами, неряшливо вылепленный пропустившим все инструкции воспитательницы детсадовским ребенком. Глубокий – до дна Аглая доставала только стоя на бетонной плите у берега. Они с Вероничкой с плиты никогда не сходили, на ней и барахтались.

В пруду по весне выводились головастики, черные, жирные, хвостатые, как пророщенные семечки подсолнечника. Головастики-семечки, толпясь, присасывались к пластилиновому берегу и быстро-быстро дергали тоненькими хвостами-черточками. Аглая и Вероничка ловили их пригоршнями, сажали в граненый стакан, рассматривали. Наглядевшись, Аглая несла стакан к пруду. «Еще, еще», – пищала Вероничка. «Нет, – бескомпромиссно отрезала Аглая. – Подохнут!» Аглае не хотелось, чтобы головастики дохли, хотелось увидеть, как их хвосты из ниточек превратятся в длинные лепешки, как высунутся лапки, как случится чудо, дачная Золушка на полвесенней ставки за ночь пришьет им всем маленькие ножки, отрежет хвосты и... по дачным дорогам запрыгают холодные пупырчатые, как дедовские тепличные огурцы, лягушки.

Сколько тогда Вероничке было? Лет пять? Ей, значит, семь. Дед в серой широкополой охотничьей шляпе с карельским ястребиным пером восседал на ступеньках пруда, жевал стебель осоки и читал «Советский спорт». Нес повинность, приглядывал за внучками. Одних отпустишь, бабка-моя-стоглазый-Аргус узнает, сожрет заживо! В воду Дед никогда не заходил, после Дуная и Тисы называл подмосковные водоемы лужами.

Футболки прилипали к телу, пузырились. Ни Аглая, ни Вероничка плавать не умели. Мама и тетя Зоя пытались научить, да девочки оказались неспособные, тонули, как чертовы чугунные утюги.

– Гага, гага, – верещала Вероничка, запрыгивая на выскальзывающий надувной круг с олимпийским мишкой.

Круг прислала на Новый год мамина подруга по Бауманке. Сокровище! Вся дача просила погонять. Не давали. Вот еще! Аглая зажимала нос, обхватив костлявые колени рукой, ныряла в мутную воду, как папин поплавочник на удочке, всплывала. Воздух ласково гладил по голой спине, хвалил: «Ай да Аглая! Ай да молодец!»

– Гага, смотри! – Вероничка подпрыгнула, прокрутилась, шлепнула ладошками по воде, засмеялась.

Олимпийский мишка тоже сверкнул резиновой улыбкой, качнулся, подпрыгнул, выскользнул.

– Не брызгайся! – фыркнула, зажмурившись, Аглая.

– Эй, куда?! – Вероничка взвизгнула.

Вода чавкнула. Аглая замерла. За медведем! Дура! С плиты! Живот стал жесткий, не свой, твердый, как забор в ромбиках. Вода чавкнула еще раз, выплюнула на мгновение чужеродное тело – не распробовала свежую утопленницу, малышка еще, не ждала такого царского угощения – и снова проглотила пухлощекую девочку. Лакомство какое! Лакомство! Последнее, что запомнила Аглая, – смеющееся лицо Деда. Шляпа, перо, стебель осоки. Аглая не успела подумать, что такого смешного в том, что Вероничка тонет. Наверное, что-то да было. Сиганула с плиты. Выкинула вперед одну руку. Попыталась схватить Вероничку другой. Медведь, будто ожидая подвоха, отпрыгнул. Не поймаешь! Теплая мутная рыжая вода вопила от радости. Две! Две мавки! Как раз к Русальной неделе! Вот это подарок на Троицу! Ну что за удача! Что за улов! Вероничка! Вероничка! Есть! Вынырнуть. Визг. Шея. Работать. Руки. Нога. Плита. Ай! Нет! Кожа! Плита! Где плита? Визг. Шея. Чугунные утюги. Головастики. Не успеет. Подохнет. Футболка больно впилась в тело. Стакан. Сейчас их посадят в стакан, будут на них смотреть, но до пруда обратно не донесут...

– Ну ду-у-уры! – Дед выволок их на берег за шиворот.

Поцарапанная шея ныла. Пупырчатое лягушачье тело мелко тряслось, челюсти стучали друг о дружку, как ложка о стакан в поезде. Вероничка, всхлипывая, подвывала: «У! У-у-у! У-у-у-у!»

– Марш домой! Греться! Ду-у-уры вы, девки, ну ду-у-уры!

Аглая встала. На Деда не обернулась. Стыдно было на Деда оборачиваться. Подумала о Люсе на заборе, всхлипнула. Не подошли, значит. Может, и Люся выжила. Отпустили их, в стакане подержали и отпустили. Только почему так тихо? Куда делись все звуки? Вода, что ли, в ушах застряла?! Аглая наклонила голову, хотела запрыгать на одной ноге, как дядя Валера учил, не смогла. Вероничка присосалась к ней, как головастик к пластилиновому берегу, не отпускала. Аглая слышала, как у Веронички булькает сердце и стучит в животе. Они так и булькали и стучали, пока Дед не притащил со второго этажа пахнущие старыми газетами одеяла, Аглаю с Вероничкой в них не укутал и чаем из самовара не напоил. И вкуснее чая Аглая никогда в жизни ни до, ни после не пила. Дед самовар шишками разводил. Не чай даже будто пила Аглая, а сосну, хлебала большими глотками, обжигая щеки, язык, нёбо и чувствуя себя очень, очень живой.

Плавать Аглая научилась только в Алуште много лет спустя, и то по-собачьи, не по-настоящему. Страх утонуть еще долго дергался внутри светом плохо вкрученной стоваттной лампочки накаливания. А потом потускнел, успокоился, стал фоновым. Лампочка перегорела от частого мигания. И вот теперь опять... Только не лампочка это была в этот раз, а дикий сигнальный фонарь, который беспокойно вертел циклопией головой, не давая спать. Ее не возьмут в желтую группу! Ее не возьмут в желтую группу! Почему ей нужно было попасть именно в желтую группу, Аглая объяснить не могла, просто знала – от этого зависит вся ее жизнь. Не возьмут – и тогда, тогда лучше уж стать бесхвостым головастиком и утонуть. Вот прямо сейчас.

Аглая влетела на фабрику за пять минут до начала занятия. Первый день трехнедельного курса-ориентировки пошел не по плану с самого утра. Как назло, именно сегодня Ольга Николаевна сняла очки в роговой оправе, решила посвятить Аглаю в хитроумный мир окказионализмов Высоцкого, подготовить к поэтическому вечеру. Гусатая гусыня, киснуть-кваситься, бермуть, вело-мото-кино-фото-видеомагнитофон, анти-анти-антиордината, ядрена вошь. Неостановимо восторженная Ольга Николаевна тыкала Аглае в лицо своей тетрадкой в линейку с заметками, закатывая глаза, декламировала: «Я стою, как перед вечною загадкою, / Пред великою да сказочной страною – / Перед солоно– да горько-кисло-сладкою, / Голубою, родниковую, ржаною!»¹⁰ Глашенька, ты чувствуешь, чувствуешь? Кисло-горько-солоно-сладкой! Аглая ничего не чувствовала, кроме того, что сейчас заплачет. Она молча, хлюпая носом, кивала Ольге Николаевне, не понимая ровным счетом ни слова из того, что та ей говорила. Это про маточное молочко, что ли, пыталась догадаться Аглая. Такой вкус у маточного молочка – кислый, горький, солоновато-сладкий. Аглая иногда поглядывала на икону Пушкина над доской, звала: «Сюда! Сюда! Ну сделай же что-нибудь, Пушкин, Пушкин, ты могуч!» Пушкин услышал, Аглаю пожалел, хоть и поздно. Прислал Веру Владимировну. Педсовет, Оля! Иди, Глашенька, завтра договорим... Аглая вылетела из класса быстрее, чем Ольга Николаевна успела спрятать тетрадку с окказионализмами в стол.

«Ядрена вошь! Ядрена вошь», – вертелось у Аглаи в голове. Она даже на обед к Бабушке не забежала. Бабушка так и провисела в окне, охая и грея макароны по-флотски под байковым одеялом, чтоб не остыли.

¹⁰ В. Высоцкий «Купола».

* * *

Тетя Света сидела в холле одна, вытянув короткие ноги в балетках-мыльницах, подпи- рала Шварценеггера на плакате – черные очки, бульдожья морда: I'll be back. Тетя Света сочно, плотно причмокивая, пила кофе из красной кружки Nescafé. У них тоже такая была. Папа пару лет назад с детским энтузиазмом юного филателиста бросился собирать алюминиевые мембраны от банок. Легенда о бесплатных кружках Nescafé ходила по всему городу. Говорили, их присылают по почте. Бесплатно. Папа, который не верил ни в одну религию, кроме религии младших научных сотрудников, слепо, страстно отдал свою бессмертную душу секте Свидетелей красных кружек Nescafé. Начал причащаться, пить кофе вместо чая. Морщился, фыр- кал, ругался на горький вкус, но пил. «Поколение, оболваненное сникерсами, – комментировал папино помешательство Дед. – Жополизы капиталистические! И говно из выгребной ямы хле- бать готовы, давиться, только бы... Продались!» В существование бесплатных кружек Дед не верил. Кружку тем не менее прислали. По почте. Бесплатно. Милосердный капиталистический бог услышал сомнения детей своих, дал знак. Кружка была толстобочая, взаправдашняя, сияла божественным красным светом. Даже Деду понравилась, цвета советского флага, ничего. Папа кружкой гордился, демонстрировал всем, как охотник трофейную голову оленя, даже в мили- цию носил, хвастался в отделе. Каждое утро пил из нее чай. Кофе папа после свершившегося чуда пить бросил. Он, как оказалось, его не любил. Дед зрил в корень. Красная кружка исчезла из квартиры вместе с папой. С явленным тебе чудом расставаться не следовало, кто знает, не последнее ли, сколько тебе этих чудес за жизнь по квотам положено.

– Дымова! Чего опаздываешь? – Тетя Света поставила кружку Nescafé на деревянную лавку, взяла список, провела пальцем. – Так. Дымова. Тебе в актовый зал. На второй этаж.

Аглая кивнула, бросилась на лестницу. Тетя Света ее притормозила:

– Эй! Эй! Да не торопись ты! Успеешь, я еще звонок не дала. Ну-ка! – Тетя Света зашур- шала фольгой. – Последние два кусочка. – И протянула две толстые полоски «Ореховой» шоко- ладки, любимой.

Аглая замотала головой. Кроликом выпучила красные от ужаса глаза. Ах, боже мой, боже мой! Я опаздываю! Что они, сговорились, что ли, все?! Гусыни гусатые!

– Чего это ты придумала? От шоколада отказываться! – Тетя Света по-индюшачьи трях- нула головой, тыкнула указательным пальцем себе в лоб: – Мозгам пища нужна! Ну-ка! Ешь немедленно!

Аглая моргнула. Так Бабушка всегда говорила, доставая из ящика припрятанного «Мишку» или «Осенний вальс» и улыбаясь: «Знаешь, почему ты у меня такая умная? Потому что конфеты любишь!»

– Бери, бери! Пока не съешь, звонок не дам! – Тетя Света повелительно кивнула на мед- ный колокольчик.

Аглая взяла шоколадку, разломил пополам. Подушечки указательного и большого паль- цев покрылись густым слоем темного шоколада. Мелко дробленный фундук царапнул кожу. Аглая засунула шоколад в рот. Облизала пальцы. Горько, сладко, чуть солоновато. С ореш- ками. Как у Высоцкого.

– Другое дело! А теперь марш в актовый зал! – Тетя Света подняла медный колоколь- чик. – Я подожду, пока ты добежишь.

Аглая завернула второй кусок шоколадки в фольгу, хотела отдать, но тетя Света только рукой на нее махнула: иди уже. Аглая спрятала шоколадку в карман кофты, побежала.

Тетя Света обещание сдержала. Прозвонила, только когда Аглая добежала до актового зала. Красные кирпичные стены. Ни шпаклевки, ни обоев. Просто кирпич, где-то ровный, где- то верхний слой глиняной кожи содран. Окна в пол. Деревянные шелудивые рамы. Начищен-

ные до блеска, без разводов, стекла. Тетя Света мыла раму. Парты со столиками на одного, как в первом классе, только пластиковые и стоят не в ряд, а полукругом. Человек двадцать пять желающих. Толпа целая. И все точно в желтую группу хотят.

Гудвин сидел, оседлав перевернутый задом наперед стул, в самом центре перед белой, а не черной доской, вертел в руках не мел, а фломастер. Гудвин Аглаю не заметил, о чем-то беседовал с кудрявым Парамоновым (на этот раз в сменке). Гудвин был не в синем. Замшевый верблюжьего цвета пиджак, футболка «Hard Rock Cafe», черные джинсы, белые кроссовки Adidas с болотного цвета полосками. Прозвенел второй звонок. Как в театре.

Самую красивую девочку в группе Аглая заметила сразу. Ее невозможно было не заметить. Это была девочка-инопланетянка. Короткая джинсовая юбка. Длинные ноги Синди Кроуфорд. Морской загар. На подмосковной даче такой не получишь. Подмосковный загар слепой, бледный, вспухший расчесанными волдырями укусов слепней. Подмосковный загар зудит, ложится пятнами – хочешь смыть, да он не смывается. Не загар, а кожное заболевание, не описанное ни в одной медицинской энциклопедии.

Определить самую красивую девочку, найти Настьку в новой группе было Аглаиным рефлексом, инстинктом самосохранения, навыком выживания в неблагоприятной окружающей среде. Нет, Настек Аглая не боялась. Чего их бояться? Разные весовые категории. Настьки – они как красная икра, яркие, блестящие, стоят дорого, а на вкус попробуешь – засоленная соль, слизью лопающаяся во рту. Аглая боялась другого – встретить девочку быстрее себя, умнее, сообразительнее. Страх был необоснованный, слепой, иррациональный. Умнее себя она еще ни разу никого не встречала, ни в началке, ни в средней школе. Даже в гимназическом, где, не успев прийти, она схлопотала свою первую в жизни двойку. Третье сентября. Ольга Николаевна. Словарный диктант. Программа в гимназическом была в разы сложнее, чем у бэшек. Увидев ярко-красную царапину в тетради, а под ней – вставшую на дыбы алую двойку, раскрывшую свой кобродобразный капюшон, готовую атаковать, Аглая испытала первый в своей жизни экзистенциальный ужас – и в Арзамас ехать не пришлось. В ту ночь на кресле-кровати лежала парализованная, не двигалась, смотрела в потолок. В спальне пахло мокрым воском, только начавшим снова застывать, черным и дымным. Думала, умерла. Но нет, не умерла, к утру воскресла, взяла себя в руки, выучила все словарные слова на месяц вперед. На всякий случай. Ольга Николаевна карандашную двойку в журнале стерла, нарисовала синей ручкой задорную, откормленную пятерку, посмотрела на новую девочку ласково, уважительно. Хорошая девочка, толковая, присмотрюсь!

Аглая смирилась с тем, что не могла заставить свою торчащую снегириными клювами грудь вырасти пухлой, ровной, подпрыгивающей, как у Настьки, не могла заставить свои пушистые волосы выпрямиться ровной чертой, проведенной будто по линейке, плотно ложиться сзади, как у Ксюшки, не могла вытянуть свой смешной курносый нос, доставшийся ей от Бабушки. Все это было не в ее власти. Ну и ладно. Ну и пусть. Зато она всегда была умнее всех в классе, понимала учителей даже не с полуслова, а с четверти, а что не понимала, выучивала наизусть и повторяла про себя много раз, пока смысл выученного не прояснялся. Она просто брала весла и гребла. Егорыч научил.

Егорыч в молодости служил на флоте. Выносливость, дисциплина, четкость движения. Оттолкнуть нос! Уключины вставить! Весла разобрать! Он брал ее с собой рыбачить на лодке, папа не брал, боялся, а Егорыч не боялся и брал, командовал четко и весело, борогато улыбаясь. Весла! Приподнять на локтевом сгибе. Кисть на вале. Лопасты параллельно. На воду! Занести лопасть к носу, развернуть, опустить! На воду – раз! Глубокий вдох! Два-а-а! Выдох. Три! Довыдох. Не терять из виду цель. Держать точку! Раз! Два-а-а! Три! Только вперед! «И в кого ты такая?» – удивлялся папа. Никто отличником в семье не был. Бабушка восемь классов окончила. Дед в шестнадцать ушел на фронт, остался самоучкой. Папа был принципиальным хорошистом. Жизнь – это не дневник с пятерками. Аглаю он не понимал, но на

работе дочерью-отличницей бесстыдно хвастался. Да что ж ты будешь делать, опять на одни пятерки год закончила, все учить и учить, никто ее не заставляет! Заставлять Аглаю было не нужно. Аглая гребла весело и упорно. Приплывала к противоположному берегу первая. «Отлично, Аглая! Умница, Аглая! Все посмотрите, как сделала домашнюю работу Дымова!» «Суши весла!» – бородато командовал Егорыч. Набрав скорость в новом классе, можно было весла отпустить, лодка плыла сама. Учителя ставили пятерки автоматом. Это так просто и так очевидно: Дымова – отличница.

Аглая стояла в дверях, не отрываясь смотрела на девочку-инопланетянку. Тело замерло, будто уже побывало в будущем и, заранее все испытав, посылало Аглае трудно расшифровываемый сигнал. У-Янус. Мы с вами не беседовали вчера? Девочка-инопланетянка сидела не по-советски, вольно, закинув одну длинную голую ногу на другую. Короткие густые волосы, мальчишеская стрижка. Длинная челка, зачесанная набок. Широкая белая рубашка-облако с расстегнутой верхней пуговицей. Белые длинные носки-макароны, тоже Adidas. И ботинки – черные, блестящие, с желтой строчкой у подошвы, солдатские, дерзко висящие на тонких щиколотках. «Анти-анти-антиордината», – вспомнилось Аглае слово из тетрадки Ольги Николаевны.

– Aglaya, hello! So nice to see you back! Take your seat next to Polina, right over there.

Аглая моргнула. Гудвин смотрел прямо на нее, заметил наконец пришельца, кивал на девочку-инопланетянку. Ядрена вошь! Аглая вцепилась в лямки рюкзака. Держись! Полина высоко вскинула тонкую руку, помахала ей. А потом сделала для самой красивой девочки в классе нехарактерное, противоречащее всем законам противостояния красивых и умных – приветливо улыбнулась, выставив напоказ острые белые зубы.

– Come on, love! We've already started! Quick! Quick! Grab a seat!

Аглая не понимала слова, которые произносил Гудвин, но понимала его пантомиму регулировщика трамвая. Гудвин энергично крутил правой рукой в сторону девочки-инопланетянки. Аглая послушно кивнула, села рядом.

– Полина, – прошептала девочка-инопланетянка бананово-клубничным ароматом жвачки Love is, смешивающимся с ее собственным апельсиново-карамельным запахом, восковым и плотным.

У Полины были густо-серые глаза, правильные, без желтых кошачьих радужек – вечное лунное затмение, как у Аглаи с папой. Белки у Полины были бледно-белые, четкие. Аглая видела такие лишь однажды, в Третьяковке, у Царевны-Лебеди Врубеля. Казалось, что Полина их с картины вырезала и приклеила себе.

– Тебя как зовут? – Эта странная девочка ее, как Настька, не боялась, не шарахалась, смотрела прямо в глаза... и улыбалась.

– No Russian in the auditorium, sunshines! No Russian! – Гудвин погрозил им пальцем.

Аглая покраснела и принялась доставать учебники, а Полина просто перекинула ногу на ногу, посмотрела на Гудвина в упор, смело, бесстыдно, и ответила:

– I do apologize, professor. I just meant to welcome her, make Aglaya feel at home.

Гудвин показал большие пальцы вверх, встал со стула, хлопнул в ладоши:

– Let's dive in, loves!

Аглая моргнула и прыгнула, нырнула. Вниз. В кроличью нору. Падала она стремительно. Банки мармелада со стен выхватывать не успевала. Время визжало, дергалось, колотилось. Аглая выставяла вперед руки, пытаясь затормозить. Ничего не выходило. Размышлять о том, сколько миль она пролетела и далеко ли еще до центра Земли, времени не было. Гудвин постоянно что-то говорил, что-то спрашивал, велел открыть учебники, перевернуть страницу, что-то читать, что-то повторять. Все проносилось мимо, замирая лишь иногда, когда говорила Полина. Полина говорила на английском легко, живо, воздушно. Она всё понимала. Не только отвечала на вопросы Гудвина, но умудрялась и шутить. По-английски. Она Гудвина смешила.

Не глупо поскользнувшись в дверном проеме, а по-настоящему, мгновенно сочиненным каламбуром, длинными – у Аглаи дыхание перехватывало, какими длинными – фразами.

Английский туманом, как тот, что пускали Пугачевой на сцену, когда ледяной горою айсберг вырастал из тумана, заполнил собой все пространство актового зала, затянул идеально вымытые тетей Светой стекла. Туман был сжиженный, сгущенный, как сладкое молоко в банке, из которого Бабушка варила им с Вероничкой ириски на Новый год. Аглая даже не пыталась в нем что-то рассмотреть. Стояла, увязнув по свою двойную макушку. Две жизни, Агуля, тебе Бог послал, целых две жизни! Главное – не захлебнуться. Текучий, топкий туман забил ей рот, уши, глаза. Аглая все ждала, когда приплывет Егорыч на лодке, вытащит ее за шкуру, вручит весла. Гребни, Глашунь! На воду – раз! Глашуня, сосредоточься! Но Егорыч не приплывал. Никто не приплывал. Аглая залипла в тумане туповатой полумертвой трепыхающейся мухой, чего-то ждала. Этап «Hello! How are you? My name is...» закончился минут двадцать назад. Аглая с облегчением оттарабанила «My name's Aglaya», а потом всё. Айсберг из тумана не вырос. Едко резало глаза. Зато в актовом зале ужасающе-прекрасной мордой белой лошади начала периодически всплывать и висеть фраза «Any volunteers?». Фраза несколько секунд висела рядом с Гудвином, а потом растворялась, рассеивалась. Пшик! Гудвин снова ее подбрасывал. Аглая фразу пристально рассматривала. «Эни. Волан. Тиаз, – повторяла про себя. – Эни. Волан. Тиаз». Лошадка... Медвежонок... Лошадка... Медвежонок... Пшик! Гудвин бросал фразу вновь. Чаше других ее подхватывала Полина. Замахивалась, как Штеффи Граф ракеткой, отбивала обратно Гудвину. Гудвин радовался, мальвово смеялся, поднимал большие пальцы: «Велдан, Полина! Велдан!»

Когда Полина в очередной раз отбила подачу Гудвина, Аглая все поняла. Тело было именно здесь, в этом моменте, об этом ее предупреждало, жало на красную адреналиновую кнопку: «Беги! Беги! Беги!» Девочка-инопланетянка была не просто Полиной, а той самой, еще юной, но точно уже той самой Полиной из будущего. Сотрудницей Московского института времени, изучающей историю двадцатого столетия, одним поворотом руки управляющей и временем, и роботом Вертером, посвящавшим ей стихи, она была... и космическими пиратами. Мамина аксиома «все девочки делятся на умных и красивых» с Полиной не работала. Мама, мамочка, у тебя здесь ошибка. У тебя здесь ошибка, мама. Аксиома на Аглаиных глазах выродилась в дурацкое чертовое правило, анти-анти-антиординату с одним дурацким чертовым исключением – Полиной. Бермуть какая-то!

– So, you went to London. Is that so? Did you eat any beefsteak with beefeaters, Polina? – Гудвин ставил ударение на последний слог ее имени, Поли-на́, будто не говорил его, а пел. По-ли́-на! По-ли-на́! По́-ли-на! По-ли́-на! По́-ли-на! По-ли-на́! Гудвин говорил и с другими волантиаз, улыбался, подбадривал: «Велдан!» Но два больших пальца вверх показывал только девочке-инопланетянке. Аглая руку не подняла ни разу. Топла в тумане, тихо, неуклюже, смотрела на морду идеальной серебряной лошади. Эни. Волан. Тиаз.

Первый раз Гудвин напрямую обратился к Аглае только в самом конце урока, посмотрел внимательно. Дидьялэнитэзвел? Аглая замерла, перестала дышать. Повертела головой: нет, он точно смотрел прямо на нее желтыми глазами, мраморными, взорвавшимися вокруг зрачка звездной туманностью варенной полтора часа сгущенки. Аглая перестала моргать. Хотела смочить пересохшие от ужаса приблизившейся вплотную морды белой лошади глаза, но не могла. Вымазанные сгущенкой веки залипли. Тело сидело прямо, но от нее отдельно. Мозг, лихорадочно вглядываясь в туман, пытался хоть что-то разобрать: дядя, лёнит, кто это, вел. Это ничего не значило. Это был не английский, которому их учили в школе. Это был вообще не английский. Китайский? Арабский? Сербский? Аглая безголосо звала Егорыча: «Егорыч, миленький, ну пожалуйста! Егорыч!» Вдавливалась вся в пластиковую спинку стула: «Табань! Табань!» Егорыч так далеко никогда не заплывает. Сейчас станет совсем темно, опять запахнет только что потухшими свечами, и она умрет. В этот раз насовсем. Заныло и окаменело

нёбо, защекотало нос. Глаза защипали, стали стеклянными. Все поплыло. Лошадка... Медвежонок... Лошадка... Медвежонок... Аглая видела лицо Гудвина, как через окно восьмого автобуса с запотевшими летом стеклами. Слишком жарко и слишком холодно одновременно. Все-все смотрят. Прыщавый мальчик с другого конца полукруга стульев смотрит. Кудрявый Парамонов скривил в подобии улыбки рот и смотрит. Полина качает идеальной щиколоткой и тоже смотрит. Сейчас они все поймут, что Аглая здесь случайно, позовут тетю Свету, и та заставит ее сдать учебники. Дидьялэнитэзвел? Аглая заерзала на стуле, сглотнула, на всякий случай вцепилась в распечатки на столике. Тонуть и умирать она будет вместе с ними. Застынет археоптериксом в темном трюфельном тумане. Ее будут изучать как окаменелость будущие поколения старшеклассников.

– Камон, далин. – Гудвин подмигнул Полине, что-то сказал.

Полина потянулась к Аглаиному уху. Аглая отдернулась, уставилась на Полину. Что это она? Полина засмеялась, сделала жест, не бойся, снова потянулась к ее уху, клубнично-бананово прошептала:

– Он спрашивает, учила ли ты раньше английский. Скажи: «Анфоченетли, ай хэвнт ста-дид инглиш бифо».

Аглая моргнула, утренней росой на ее длинных ресницах остались не успевшие потечь густые, кисельные слезы. Вместо Егорыча приплыла Полина. Девочка-исключение-из-правил с плоскими, выцветшими на солнце веснушками протягивала ей весла.

– Ай хэвнт ста-дид инглиш бифо, – шепнула еще раз Полина и подбадривающе кивнула.

Полина повторила слово за словом по слогам. Ан-фоч-ен-ет-ли. Английские слова имели вкус инопланетных апельсиновых жевательных конфеток, которые им раздавали по одной в начальной школе. И мишек Гамми, ярких, прозрачных. Их выдавали по три. Красного, желтого и желтого, Танька, поменяй мне желтого на зеленого, у тебя их два! Гуманитарная помощь из Америки. Ан-фоч-ен-ет-ли. На Полининой правой щеке выскочила непарная ямочка, будто кто-то изнутри закусил ей щеку прищепкой, а ей было не больно, а весело. Полина подбадривающе кивнула.

– Ай хэвнт. Ай хэвнт. Ста-дид инглиш. Ста-дид инглиш. Бифо. Бифо, бифо, – сглотнула и зачем-то повторила второй раз Аглая.

Она посмотрела на Гудвина, как глупый шестимесячный щенок, до которого наконец дошло, что от него хотят, когда говорят «Дай лапу!». Гудвин улыбнулся – у него было очень много зубов во рту, – показал ей палец вверх, подмигнул. Все мы здесь не в своем уме, и ты, и я.

– Well done, Aglae... – «А-гла-е» – ударение в ее имени он тоже заменил, переписал, присвоил. – Thank you, Polina, you are a darling. You wanna become my assistant, love? You two make quite a couple. – Гудвин сделал вид, что аплодирует, подошел к доске.

– Что он сказал? – Аглая сжала ладонь в ладони, будто пыталась задохнуться уже распустившийся цветок обратно в бутон.

Полина зевнула, широко, высоко потянулась. Прямо на уроке. Ни у кого не спрашивая.

– Предложил стать его ассистенткой, сказал, мы с тобой отличная парочка.

Отличная парочка? Может, ее все-таки не выгонят. Может, тетя Света не заберет учебники. Аглая расцепила пальцы, засунула руки в карманы кофты. В правом что-то зашелестело. Она достала кусочек «Ореховой» шоколадки, оглянулась. Гудвин писал на доске слово un-fortuna-tely. Аглая протянула шоколадку Полине:

– Хочешь?

Ямочка опять сверкнула на правой щеке, Полина кивнула, взяла шоколадку:

– My favourite! Thank you!

Гудвин, услышал шелест, повернулся, склонил голову набок:

– What's with all that rustling? We aren't in a diner, loves!

Полина пожала плечами, развернула шоколадку, помедлила секунду, широко открыла рот, отправила туда весь кусок целиком. Долька «Ореховой» растянула ей щеки. Полина показала Аглае большой палец, закивала. Аглая в первый раз за полтора часа улыбнулась. Она не ушиблась. Она не застряла в тумане. Она через него пролетела, приземлилась и быстро вскочила на ноги. Весло ей первый раз в жизни протянул не Егорыч, а другая девочка. Самая красивая. Самая умная. В черных ботинках. С инопланетным именем – прощайся, две минуты у тебя, прощайся – ПО-ЛИ-НА.

* * *

Аглая принялась за изучение английского, как Вероничку спасти сиганула – с разбегу. Будто жила до этого заколдованной диснеевской принцессой в высокой башне и вдруг очнулась, услышала зов судьбы, ту самую песню в мультфильме, после которой жизнь главной героини уже не останется прежней. Аглая выписывала из словаря незнакомые слова. Каждое третье паялилось на нее со страницы и не узнавало. Кто ты? Зачем ты на нас смотришь? Делала один и тот же юнит в Мёрфи по пять раз. Разве такие учебники бывают: понятные, нескучные, с примерами? Заучивала наизусть правила различия Present Simple и Present Continuous. «We use the continuous for temporary situations, we use the simple for permanent situations», – повторяла про себя, радуясь, когда какое-то слово вдруг щурилось, улыбалось, подмигивало. Temporary. «Невольно изречешь: „O tempora, o mores!“ / Когда поразглядишь, какая в жизни горесть!» Некрасов. Кирюша. Литература на третьем уроке. Тут же подскакивал permanent. Меня, меня ты тоже знаешь! Перманент, шестимесячную завивку, каждую весну делала тетя Зоя. Деревянные палочки-коклюшки, химический состав «Локон», тюрбан-простыня на голове, фиксаж, бигуди, инопланетный фен-бидон, Галька, лучшая парикмахерша города с золотым зубом, никаких залысин, никаких париков в аренду. За три рубля шестьдесят копеек тетя Зоя становилась похожа на стриженую овцу. О, если бы не школа! Учить английский с утра до ночи. Вот о чем мечтала Аглая. Но... Ан-фо-че-нет-ли. Много в жизни приходилось делать, потому что так нужно. Unfortunately. Полинину слово Аглая повторяла заклинанием, гадала на нем, как на ромашке: fortunately – unfortunately, плюнет – поцелует, к сердцу прижмет – к черту пошлет. К черту послать школу! К черту!

* * *

Аглая широко зевнула. Дед зачмокал во сне. Сегодня не кричал ни разу. Дед часто ночью вскакивал, с выпученными, чужими глазами утробно завывал: «Бежи-и-им!», «Ло-о-ожись!». Послед войны, так никогда и не высокобленный. Гнил в утробе с полвека, не давал матке, выносившей здорового, примерного бойца (все медали на одной стороне кителя не помещались, девятка по военной шкале Апгар), сократиться до размеров довоенного времени. Не было такого размера. Командир не предупредил, что больше никогда не будет. А может, и сам не знал. Люди забывают войну так же, как беременные забывают боль при родах. Адреналин. Ускорение сердечного ритма. Усиление мышечной активности. Вот только гипоталамус окситоцин не синтезирует. Спасать тебя некому. Ни любви. Ни доверия. Ни привязанности к новорожденному, столь, казалось, желанному, миру-младенцу. Деда забрали за год до окончания Отечественной, мальчишкой совсем, в шестнадцать. Он ушел на фронт с куском материнского, белого, как передник гимназистки, и жирного, как собранные с парного молока сливки, сала. Последним, что запомнили глаза, была родительская мазанка. С батей строили. Месили глину с соломой, добавляли Буянкин навоз, белили. Буянка была корова спокойная, но с характером, прям как моя бабка, говорил Дед. Анисий, меньшой брат, разрисовал стены цветами: красные маки, синяя горечавка, розовые ромашки, а сверху, для матери, ее любимые подсолнухи

– такие в Подмоскowie не растут, не вызревают. Бабушка единственная в семье ночью Деда не боялась, укладывала обратно: «Тихо! Тихо!» – заговаривала, укрывала. Аглая так и не привыкла никогда. «Мы не заметили жука...» Спала с ними всю свою пятнадцатилетнюю жизнь в одной комнате и не привыкла. «И рамы зимние закрыли...» Просыпалась от потустороннего воя, зажмуривалась. «А он живой, он жив пока...» Укрывалась с головой одеялом. «Жужжит в окне, / Расправив крылья...» Прижимала ладошки к ушам. И я зову на помощь маму. Повторяла все стихи Барто, которые помнила. «Там жук живой! Раскроем раму!»¹¹ Аглая знала, воеет ее Дед, любимый, добрый, всех упырей от них с Вероничкой палкой отгоняющий, но это был не ее Дед, а другой, жуткий, незнакомый, забравшийся в ее Деда и там застрывший.

Аглая потеряла глаза. Густое серо-сиреневое октябрьское утро размазилось жидкой овсяной кашей по окну, как по тарелке. Яичными желтками тающих столовских кубиков сливочного масла горели окна хлебозавода напротив. Хлебозавод петухом просыпался в городе раньше всех, будил до рассвета безголосым кукареканьем окон: «Вставай! Вставай! Вставай! Манная каша остынет, придется есть серый клейстер, Аглая, давиться комочками!»

Аглая мелко поежилась. Зябко. Батареи еще не включили, спала в фетровых спортивных штанах, бабушкиных шерстяных носках и клетчатой фланелевой рубашке. Потянулась. Медленно. Без резких движений. Кресло-кровать разошлось, стало раздражительным, как папа, когда в преферанс проигрывал: ты что тут понаписала, все напутала в вистах и горе. Кресло было трофейное, красивое. Гладкая ткань, не велюр, клетчатая, целая, ни одной дырки. Строгие формы, никакой пошлой пухлости армянского люкса. Папа притащил с рейда. Они заброшенную гостиницу опечатывали. Что в инвентаризацию не попало, разыграли. Вслепую. На спичках. Беспроигрышная лотерея для работников правоохранительных органов с зарплатой в сто пятьдесят рублей в месяц. Егорыч выиграл гейзерную кофеварку из нержавейки, Юрец – мороженицу из братской Прибалтики, Валере досталась скороварка, Николаичу – фотоаппарат Polaroid, сокровище, к которому было не достать кассеты, папе – кресло. Лучшее из того, что было, уверял папа. Подушки в кресле исхудали, поролон превратился в пластилин, пружины пересчитывали ребра. Бабушка красное верблюжье одеяло постелила. Аглаю в нем из роддома выписывали. Вероничка с Аглаей все детство скакали на этих подушках верхом. Лучших лошадей было не сыскать. Проигрыватель «Радиотехника ЭП-101-стерео». Рижский радиозавод имени А. С. Попова. 135 рублей. Подарок на свадьбу. Пластинка «Бременские музыканты». Грустная синяя собака. Черный хитрый кот. Осел Джон Леннон. Петух – профессор в очках. Трубадур-хиппи в джинсах клеш. Принцесса в красном платье Твигги. По повозкам! Вперед! Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла! Е, е-е, е-е!

Аглая опустила ноги на гладкий линолеумный пол, поднялась, потянулась. «Tom woke up early in the morning», – мелькнула в голове заученная вчера фраза из юнита про Past Simple. Вышла из спальни на цыпочках. Чтоб Деда не разбудить.

Большая комната. Темно.

Мамина комната. Темно.

Коридор. Темно.

Аглая щелкнула выключателем туалета, зевнула, потянула дверь. Туалет – баллистическая капсула. Папа показывал ей рисунок в книжке. На вопрос: «А какого баллистическая капсула размера?» – папа задумался и ответил: «Да вот с наш туалет, только потолки у нас повыше будут». Аглая стянула разом штаны с трусами, уселась на расколотую и склеенную изолентой сидушку. Дед все чинил изолентой: сгоревшую проводку, шариковые ручки, мебель, папин мотоцикл, туалетную сидушку. Трусы, набор «неделька». Сиреневые Friday с оранжевыми розами. Когда «недельку» стали продавать на рынке целыми наборами, с понедельника по воскресенье, а не по одной паре, как раньше, мама потратила на трусы половину месячной

¹¹ А. Барто «Жук».

зарплаты оператора ЭВМ. Купила про запас. «Да, – ворчал Дед, – теперь, если американцы нас все-таки шибанут, закопаемся в гору твоих трусов, втянем носом сладкий финский запах, авось пронесет. Их же и есть будем вместо гречки».

Неуверенно-желтый масляный цвет стен. Стены были выкрашены московской штукатуркой, прямо по бетону, никакой грунтовки, шпаклевки, выравнивания. Аглая сонно разглядывала застывшие песчинки и бугорки на двери. Нахоженная курица на насесте. Всевидящий никогда не моргающий глаз. Профиль Пушкина. Как в «Евгении Онегине», только без боли-вара. И тут он! Рядом с прямым пушкинским носом корявилась надпись: «Я тебя люблю!!!!» Лешка-физкультурник нацарапал. Лешка жил на втором этаже, Аглая – на седьмом. Лешка был двоечником, Аглая – отличницей. Лешка сидел на четвертой парте, Аглая – на первой. Лешка был в Аглаю влюблен выше ушей с первого класса. Аглая в Лешку была влюблена где-то по пояс, максимум по плечо – он все-таки был двоечник. В школе Лешка о своем чувстве не распространялся. Правила есть правила. В школе Лешка дрался с Аглаей на вениках на переменах, кидал в нее бумажные шарики с четвертой парты, подкладывал майских жуков в ранец. Жук один раз выполз, жужжа, летал по классу, пол-урока ловили. Зато когда Лешка приходил к Аглае домой подтягивать русский, весь его хулиганский задор улетучивался. Лешка просто сидел и смотрел на Аглаю. Глупо. Не отрываясь. Аглая была очень красивая в желтом свете настольной лампы, пахла синими чернилами и ватрушками. Правила русского языка после таких уроков Лешка не то что не запоминал, забывал даже то, что мутным осадком еще болталось в мозгу с уроков. Аглая злилась. Ей поручили Лешку подтянуть, доверили... а тут... педагогический провал. Лешка же радовался. Это хорошо, что русский у него не улучшается! Пока он пишет жы-шы-с-буквой-ы, никто не посмеет у него Аглаю забрать. Вместо слов, которые Аглая ему диктовала, Лешка писал в тетрадке: «Давай паженемся!!!!» Единственным знаком препинания, который Лешка уважал, был восклицательный. Лешка щедро приправлял им все послания Аглае. Однажды, когда Лешка уже уходит собирался, сказал, что ему срочно нужно в туалет. Нет, до второго этажа он никак не дотерпит. Лешка заперся в туалете – баллистической капсуле, оставил орфографически сомнительное признание в любви с пятью восклицательными знаками. Аглая взяла красную ручку, ошибки исправила. Через две недели Лешка притащил Аглае огромный оранжевый апельсин, сунул в руки – свасьмыммартам, – зажмурился и хотел поцеловать, но промахнулся, попал мокрыми губами в нос, только обнюхивал.

А потом все закончилось, Аглая к ашкам перешла – все равно что в другой город переехала. Хотя, если бы она переехала в другой город, было бы лучше. Лешка бы на электричке к ней ездил русский подтягивать, и орфографически сомнительные письма бы писал. А тут... Километры межклассовой интеллектуальной пропасти на электричке не преодолеть. Лешка это хорошо понимал. Аглаю в неудобное положение не ставил. Как видел в коридоре – бежал в другую сторону, отмахивался от постоянно чудящегося ему желтого запаха апельсина, чернил и ватрушек.

Аглая натянула штаны, дернула смыватель. Опять поплавок застрял. Зевая, ухватилась обеими руками за керамическую крышку, потянула вверх. Тяжелая. Крышка дернула залипший поплавок. Вода зажурчала.

* * *

Бабушка уже готовила завтрак. Толстая связанная тетей Зоей жилетка (Деду мала оказалась, Бабушка донашивала), штаны в цветочек (подвернутые, на Бабушкин рост, метр пятьдесят два, взрослые штаны не шили), черно-седое неровно подстриженное каре (мама стригла, Бабушка лет десять как в парикмахерские не ходила, деньги не тратила), длинная челка заколота набок старой Аглаиной невидимкой с красной бабочкой. Ничто друг с другом не сочетается, а вместе посмотришь – Бабушка.

– Встала? Вот молодец! Доброе утро, Агуленька!

Пол столовой ложки муки. Артритные пальцы – костяшки – грецкие орехи, засунутые под кожу, выпирающие, – действовали быстро. Безымянный палец выгнут влево, танцует негритенком из «Чунга-Чанги», но от других не отстает. Щепоть соли. Чуть-чуть молока. Три яйца. Вилка зацокала по стенкам чашки.

– Омлет. – Бабушка вылила яичную смесь на черную чугунную сковородку. Зашкварчало, сладко запахло. Даже у стекол на окнах слюнки потекли. Кто бабушкин омлет не любит?! Бабушка звякнула железной лопаткой, подняла один край омлета, давая яичной массе затечь вниз. Омлет у Бабушки выходил слоеный, суфле, раздувался до верхних краев чугунной сковородки, не имел ничего общего со школьным омлетом-медузой.

Ломоть черного хлеба. Тарелка. Омлет – венгерское покрывало. Взбитое, съедобное, из яичного тюля. Пионовое покрывало с розами Бабушка привезла из Будапешта, хранила в шкафу в спальне. Достала дважды за всю жизнь. Один раз – когда Аглаю из роддома принесли, второй – когда Вероничку.

– «Кушай тюрю, Яша... – Бабушка поставила тарелку с омлетом перед Аглаей, хитро прищурилась: – Молочка-то нет...»¹²

Аглая нахмурилась. Опять! Бабушка!

– Где ж коровка наша? Увели мой свет...

Аглая зажала руками уши, загудела:

– У-у-у-у-у!

Непереносимый и неизбежный стон бурлаков на Волге за завтраком. Бабушка знала, что Аглая его не любит, но повторяла. Сама не знала почему. Яша вырывался из нее материнским голосом, низким горловым альтом, подставлял плечо под ляжку добровольно, со всеми разделял страдания, всем сострадал.

– А-а-а-а! – еще громче завывала Аглая.

Бабушка замахала на Аглаю:

– Все, все, не буду. Молчу. Маму разбудишь! Ешь давай!

* * *

Аглая приходила в школу рано, к открытию. Седой охранник Степаныч отпирал стеклянные двери, пускал, сонно кивая сам себе: «Утро уж, голубонька, утро», возвращался спать в подсобку под мерное гудение радиоприемника. «Темная ночь, только пули свистят по степи...»¹³

«Ты чего так рано?» – сочувственно спросила ее как-то баба Нюра, техничка с волосатыми бородавками на лице. Безразмерная баба Нюра занимала своими выдающимися, словно надувными боками половину школьного коридора, а полы больше пачкала, чем мыла. Аглая соврала. Не задумываясь, быстро, бесстыдно, как стакан бабушкиного малинового компота из холодильника в жару залпом выпила. Сама удивилась, как ладно у нее вышло. Не больно, не натянуто, чисто. Что-то про график работы родителей. Что-то про один ключ. Ложь эта почему-то звучала реальнее самой правды и честнее. Баба Нюра погладила Аглаю мягкой, как калорийная булочка, ладонью по голове, угостила сахарным сухарем с изюмом из кармана растянутого двубортного синего халата. Больше не спрашивала, а вот сухарями подкармливала, жалела.

Аглая передела сменку, бай, бот, бот, повесила куртку в пустую раздевалку, б-о-у-г-х-т, поднялась на третий этаж. Б-о-у-г-х-т. Сейчас она снимет стулья с парт, кэтч-кот-кот, Петька

¹² Н. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо».

¹³ Песня «Темная ночь». Автор текста В. Агатов.

наверняка забыл вчера, си-а-у-г-х-т, повторит все неправильные глаголы, си-а-у-г-х-т, перечитает еще раз текст из второго юнита, чуз-чоуз-чоузен, доучит слова. Кон-си-квен-сиз. Кон-си-квен-сиз. Слово, похожее на Си Си Кэпвелла из «Санта-Барбары». Смешное.

Аглая любила сидеть одна в чистом пустом классе по утрам, представляла, что это ее комната, собственная. У Ольки Ворониной была не только своя собака, но и своя комната. Оля жила на турбазе, там новые дома построили, ее отцу-капитану дали квартиру. Когда Оля в прошлом году позвала их с Наташкой на день рождения, Аглая очень удивилась, что у Ольки в комнате всего одна кровать стоит. Надо же, как бывает. У Аглаи даже угла своего не было. Просыпался бы Степаныч пораньше, она бы и в шесть утра в школу являлась, а потом, в восемь, бежала бы обратно домой, когда мама уходила на работу и можно было посидеть в ее комнате. Аглая щелкнула выключателем в коридоре. Коридор загудел, потрескивая, кашлянул с утра уже уставшим светом. Хорошо-то как! Хорошо! Аглая повернула ключ класса. Кам-кейм-кам. Ко-ме-каме-коме.

Петька! Убью! Стулья стояли криво, пол был грязный, на доске каллиграфическим почерком Ольги Николаевны выведена домашка для пятиклашек, все крылья исписаны разбором предложений. Защищало нос. Аглая шмыгнула, сморгнула подступающие слезы. Не реви! Петька все-таки не убирался. Не реви! Глашка, поставь меня одного! Это ты реवेशь или я реву? Меня девчонки задолбали, сама видишь! Это я реву. Глашка, ну пожалуйста! Я все уберу! А ты не реви. Дурак Петька! Дурак! Я не реву. Аглая поджала губы. Английский. Кон-си-квен-сиз. Только Си Си Кэпвелл может лишиться своего сына наследства и сообщить ему об этом в заказном письме. Вот такие последствия доверчивости. Сама виновата! Аглая скинула рюкзак, посмотрела на часы на стене. Если не думать, действовать быстро, за полчаса управится, а потом... потом запрется в классе и никого до звонка не пустит, неправильные глаголы она во что бы то ни стало доучит!

Аглая хлопнула носом, принялась за уборку. Выровняла по квадратикам на линолеуме парты. Три ряда. Подняла стулья, по восемь на ряд, больно саданув косточку на правой лодыжке железной ножкой. Черт! Стул был, конечно, Настькин, защищал хозяйкино место, огрызался. Английский только два раза дома проделала, заснула вчера. Дурак Петька! Дурак! Аглая подмела пол. Опять Сморчок без сменки пришел. Под партой целый песчаный карьер!

Протерла парты, каждую проверила снизу, отодрала жвачку с Мишкиной крышки. Жвачка сладкой слизью облизала пальцы. Жвачку эту Мишке бы на лоб приклеить! Вытащила из-под раковины красное пластиковое ведро, набрала воды. Хорошо у них в классе своя раковина. Кабинки-эксгибиционисты в школьном туалете не просто распахивали дверные плащи, нечего было распахивать, просто стояли голые, бездверные, смотрите кто хотите. Кто не хочет, тоже смотрите. На мраморный бюст Ленина в актовом зале денег хватило, на двери в туалет – нет. Запах перебродившего борща, которым их с Вероничкой однажды пытался накормить дядя Валера, убеждая, что борщ свежий, никогда не выветривался. Баба Нюра до туалетов доходила через раз. Ее художественное полоскание старых панталон по полу освежающего эффекта не имело. Аглая за восемь лет приноровилась, терпела до дома. Главное, за завтраком много чая не пить.

Аглая окунула в ведро старую тряпку-футболку с крокодилом Геной. Шваброй мыть пол в школе не разрешали, неэффективно. Засучила рукава синего трикотажного пиджака, оттащила ведро в конец класса. Отжать тряпку. Протереть пол. Прополоскать. Отжать. Протереть. Прополоскать. Отжать. Одноклассники, даже самые сознательные, полы нормально не мыли, как баба Нюра, – поволозят мокрой футболкой по проходам, если воду раз сменят, уже хорошо. Даже Наташка! Ее Наташка! Аглая же меняла воду каждые две парты. Вода быстро чернела, волосая тина покрывала поверхность. Кто так лезет?! Вика, что ли? Первый ряд, проход, второй ряд, проход, третий ряд, доска. В началке они всегда дежурили по пятеро, звездочкой. Мыли каждый свой ряд, а потом пили чай с баранками и дрались с Лешкой на вениках. В

гимназическом все стало безбараночно и одиноко. Аглая слила последнее ведро, выполоскала намокшего крокодила Гену, отжала, встряхнула, повесила сушить, вытерла рукавом лоб. Челка намокла, прилипла. Аглая хотела перевязать растрепавшийся хвост, передумала: без Бабушки все равно ровно не получится, еще время терять. Убью Пивоварова! Убью!

Аглая вымыла доску три раза, чтобы ни одного развода не осталось, встала на цыпочки, написала справа сверху дату. Буква к букве, ровный почерк с задней обложки зеленой тетрадки в двенадцать листов. Похожая на верблюда-гусыню остроногая «Ш», изящная «т» – перевернутая греческая омега, ладная, ровненькая круглолицая «а», задорная «я», Петрушкой раскинувшая ноги в красных сапогах. Заглавная островершинная «А» – любимая – правая нога на каблуке, гопака танцует, закорючка аккуратно завязана большим бантом куклы Суок из «Трех Толстяков». Это вам не криво согнутая проволоочная «Е» и не скучная баранка «О». Лучшая у нее буква из всего алфавита, самая красивая.

Аглая намочила тряпку для доски, сложила пирожком. Поменяла мел. Полила цветы. Две толстянки в шкафу – советский бонсай – должны были приносить деньги, но приносили только бесконечные побеги. Ольга Николаевна раздавала с любовью завернутые в тряпочку побеги толстянок коллегам. Толстянки захватили уже полшколы. Аглая протерла каждый листок тещина языка расцветки «зеленый гепард». Быстро полила молочай с мохнатой гусеницей посередине. Из-под стола Ольги Николаевны достала банку с четырьмя зубчиками чеснока для розовой герани, добавила туда перекись водорода и растертые таблетки янтарной кислоты. Полила. У всех герань была пожухлая, безжизненная, а у них зеленая, толстоногая, откормленная, как теленок. Слава богу, хоть плющ истребили! Все полки им были заставлены. Ольга Николаевна в начале года вычитала, что плющ приносит неприятности в личной жизни, все раздала. Аглая сняла стулья, аккуратно задвинула, оглядела проделанную работу. Улыбнулась. Бескорыстная гражданская солидарность одной со всем классом. В дверь постучал Мишка:

– Эй, открывайте, кто там закрылся!

Аглая взглянула на часы. Без пяти восемь. Черт! Не успела ничего повторить. Убью Пивоварова! Убью!

* * *

Аглая поймала Петьку только на третьей перемене. Кэтч-кот-кот. Си-а-у-г-х-т. Петька смылся с первой литературы, удрал с математики. Не совсем дурак оказался. Знал, что поступил нечестно. Повезло только после биологии. Петька схлопотал вторую карандашную двойку, биологичка оставила его на воспитательную беседу по поводу Дарвина и теории эволюции. Петька на уроке утверждал, что археоптерикс – это древнегреческое божество, питающееся арахисом. Настьку Петькина теория привела в восторг, биологичку – в замешательство.

– О, Дымова! Привет! Что-то я тебя сегодня не видел. Прячешься, что ли, от меня? – Петька сшиб сторожащую его в дверях Аглаю.

– Я за тебя, Пивоваров, весь класс отдраивала утром. Одна. – Аглая уставилась на Петьку в упор. Не сдавать позиций! Стоять насмерть!

– Бокс, Дымова! – Петька стиснул кулаки, поднес к лицу, прижав локти к корпусу, опустил на грудь подбородок, чуть согнул ноги, привстав на носки, запружинил, исподлбья поглядывая на Аглаю.

– Почему ты пропустил дежурство, Пивоваров? – Аглая встала прямо перед Петькой, тоже сжала кулаки, но внизу.

Петька качался, обдавая Аглаю запахом сухариков с чесноком.

– Ды-мо-ва-а-а, на историю опоздаем! – Петька сделал хук правой в воздух.

Аглая не шелохнулась.

– Глашка, ты ж нормальная девчонка. – Петька бросил боксировать. – Ну зачем нудишь, а? Заладила: «Пивоваров», «Пивоваров»! У меня, Дымова, между прочим, имя есть! Петя меня зовут! Приятно познакомиться!

– Мне надоело за тебя убирать, П... – Аглая споткнулась о первую букву. – Пе-е-етя. Ты два дежурства пропустил. Вот! – Аглая ткнула Петьке в лицо разлинованным двойным листком в клеточку с графиком дежурств: – Видишь, Пе-е-етя? – Аглая нажала по очереди на каждый звук его имени, как на клавиши фортепиано. Первое задание в музыкалке: «Андрей, во-ро-бей, не го-няй го-лу-бей!» – Одни красные крестики! Ты, Пе-е-етя, один большой красный крест!

– Проспал, Глашка, ну честно, проспал! – Петька махнул дикаприовским чубом, развел руки, сделал полшага в сторону.

Прозвенел звонок. Аглая сглотнула. Она никогда на уроки не опаздывала, но если сейчас сдастся... Петька прищурился, облокотился о стену, сложил руки на груди:

– Глашка, вот ты мне скажи. Ты чего в таких бабских нарядах все время ходишь, а? Ну, глянь на себя... Тебе что... сто лет?!

Аглая опустила график дежурств, сделала шаг назад, будто решила посмотреть на оставшуюся на ее месте вторую Аглаю со стороны.

– Ну как бомж, ей-богу, Глашка! – Петька повеселел, перехватил наконец инициативу. – Что за пиджак на тебе висит, что за бабская юбка! Коленки торчат! Ты как отцовское пугало на поле! Всех ворон распугаешь! У-у-у-у-у! – Петька поднял две руки, растопырив пальцы, зарычал, как Петров в «Красной Шапочке»: – Жё сви лё лу гри!

Аглая часто заморгала, вцепилась в правый рукав пиджака пальцами, потянула. Костюм они с мамой на рынке купили. Обыкновенный костюм. Почему бабский? У Наташки такой же, только зеленый. Молча уставилась в пол. Подвернула коленки внутрь, спрятала под юбкой.

– Что за стремный прикид, Глашка? Ты ж не крокодил какой! Как эта... у бэшек... Как ее? Анфиска! Вот Анфиска крокодил натуральный, трусами не отмашешься! А ты?! Нет, Глашка, ты не крокодил, это я тебе ответственно, профессионально, можно сказать, заявляю! У меня уж в этом есть кое-какой опыт! Волосы б тебе распустить! – Петька было потянулся к совсем растрепавшемуся Аглаиному хвосту.

Аглая не растерялась, заехала ему сжатым кулаком по руке. Сама со своими волосами разберусь! Петька не обиделся, хихикнул:

– Штукатурки бы чуть добавить! Губки б подкрасить. Губы у тебя ничего даже, Дымова! – Петька нагло, как-то голо уставился на ее губы, вытянул бантиком свои и закивал: – Потестим?

– С Настькой тесть. – Аглая закусила свои ничего-даже-губы, фыркнула.

Петька махнул на нее рукой:

– Зря отказываешься, Глашка! Я бы тебя поднатаскал, даже не без некоторого удовольствия...

Аглая смотрела на Петьку из-под челки.

– Ладно, давай свой график! – Петька протянул широкую ладонь. – Подежурю в этом месяце все твои смены! И свои. Один! Честно все вымою. Честно не просплю! Заведу будильник! – Петька покрутил большим и указательным пальцами, изображая завод будильника.

– Вот еще! – Аглая потерла пылающие щеки. – Чтоб у нас класс плесенью зарос за месяц!

– Не зарастет, Глашка! Сиять будет, руку на отсечение даю! – Петька ладонью отсек себе в воздухе по локоть руку. – Только уговор. Математика. – Петька прищурился.

Аглая покрутила у виска. Совсем сбрендил!

– Глашка, ну пожалуйста! Ты ж отличная девчонка. – Он опустил так, чтоб быть на уровне ее глаз. Рваная прическа. Гель для укладки. Прямые низкие брови. Прямые симметричные ноздри. Прямой, без горбинки, нос. Чертов красавец. – Мне контрольную вот так нужно написать. – Петька провел большим пальцем вдоль горла. – Я ни фиги в этих дробях не пони-

маю. Владимировна грозитя двойку в четверти вывести! Ты меня и физическим трудом облагородишь, и интеллектуально воодушевишь! Я сзади тебя сяду, со Сморчком партами махнусь. Ты просто тетрадку в середину положи и плечом не загораживай! У меня зрение как у орла!

Аглая молчала. Все смены? Один? Стулья поднимать точно не станет, полы мыть тем более, так, веником помашет...

– Глашка, исто-о-ория! На пять минут уже опоздали! Давай, Дымова! Побежали скорее!

Аглая кивнула. Петька подмигнул, пустился по коридору:

– Догоняй, Дымова! Разминка. По физре тебя в благодарность подтяну!

Аглая посмотрела Петьке вслед, потом на свои коленки, вздохнула, побежала за ним. Из-за Петьки не успела эпоху дворцовых переворотов повторить. Дурак Петька! Дурак!

* * *

Зеркало дома было одно. В коридоре. Аглая притащила с кухни табуретку, залезла. Посмотрела на себя в полный рост. Самое несуразное существо на планете. Синий костюм действительно на ней висел. Поролоновые подплечники торчали лопухами. Из-под плиссированной юбки выпирали коленки-бугорки-в-столичном-кексе. С серым синяком от мытья полов. Коленкам врезала Аглаина гиперответственность. Так им и надо! Аглая потеряла колготки. Нет, бесполезно, стирать нужно, хозяйственным мылом оттирать. Широкополой шляпы не хватает, был бы настоящий Страшила с соломенными мозгами. Дурак Петька оказался прав.

– Ты чего на табуретку забралась? – Мама хлопнула входной дверью. Сиреневое пальто «Салют». Технология «Лоденфрай, ФРГ». Тетя Зоя, в институте когда училась, купила два одинаковых: себе и маме. Сносу им не было.

– Мам, я курицу купила. Куда ее? В морозилку? – Мама положила на галошницу черно-белый полосатый пакет с силуэтом развратной женщины Марианны в шляпе. – Ноги держи ровно. Чего кривишь? Как о... – Мама запнулась.

– Бабушка к тете Фекле ушла. – Аглая глянула вниз на свои кривые ноги, сдвинула их. Ноги хотелось обменять на новые.

– Да ты просто стой ровно, а то растопыришь... – Мама поймала в зеркале Аглаин взгляд, подбадривающе кивнула, нахмурилась: – Ты где так костюм изгваздала?! И колготки... Как отец, ей-богу... – Мама поняла, что сказала что-то запрещенное, как матом выругалась, быстро подхватила пакет, скрылась на кухне.

Аглая повертела рукава, пыльные, заляпанные, отряхнула. Пиджак не оттирался. Прямо как шубка, когда был папа и была зима...

Была зима, было много-много, столько-не-бывает снега.

Была шубка, новенькая, желтая в черную крапинку, шубка тигренка на подсолнухе. Мама полдня в Москве очередь отстояла, занесла в квартиру, как младенца из роддома, нежно обнимая, боясь ненароком повредить. Все собрались посмотреть: тетя Зоя, Бабушка, тетя Фекла. Это ж надо! Достала! Ах, какая славная!

Был белый ремень с железной пряжкой, ловко подхватывающий на поясе, крепко обнимающий их обоих – и Аглаю, и шубку.

Был длинный красный клетчатый шарф, тети-Зоина работа. Бабушка завязывала шарф сзади: «Шею беречь нужно, Агуленька, надует, ой как больно шейке будет!» Шарф удавом в тридцать восемь попугаев и одно попугайное крылышко обвивал воротник. Два слоненка, пять мартышек, четыре Аглаиных шеи в воротнике. Шея теряла способность вертеться. Голова поворачивалась только вместе со всем телом. Аглая с шубкой сливались в единый организм – шубодевочку, очень красивую шубодевочку, во всем городе таких всего две, она и дочка мясника с рынка.

Была белая, мягкая, как тети-Зоина пряжа, пушистая шапка-ушанка, космонавтским шлемом крепко держащая голову в безвоздушном пространстве, в невесомости, где нет ни света, ни звука.

Были коричневые колготы, от кого-то доставшиеся по наследству и оттого дотягивающиеся до подбородка. Колготы превращали худые Аглаины ноги в толстые, выпученные, бегемоты. Складки хлопчатобумажного жира собирались над коленками, под коленками, у стоп.

Были рейтузы, купленные Аглае по размеру и оттого уникальные, но из-за колготочной гармошки маловатые. «Нет, Агуленька, рейтузики надеть нужно. Мороз тебя за попу без рейтузиков схватит и укусит!» – Бабушка складывала ладонь волчьей пастью, щипала Аглаю за нос. Цап!

Были серые волосатые, как листья бабушкиных фиалок, валенки в черных галошах. В валенках Аглая из девчонкошубы превращалась в голубого шагающего по столу пластикового ослика с торчащими ушами и красным шариком. Красный шарик мама кидала со стола, и Аглая топала, топ-топ, вразвалку, топ-топ.

Были санки. Со спинкой. С разноцветными, как цветик-семицветик, дощечками. Со сложенным в несколько раз верблюжьим одеялом, чтоб попа не мерзла.

Был папа, молодой, усатый, гордый. Мама с Бабушкой доверили ему Аглаю без призора. В первый раз. Отец-молодец.

То, что катались они с папой не по-людски, Аглая поняла не сразу. Кататься с папой было весело. Они забирались на вал, на самый верх, туда, куда ни мама, ни Бабушка никогда не разрешали. «Нет, Агуленька, вот на этой горке давай, смотри, какая ладная, для малышей». Папа сажал ее на санки, как рогатку, оттягивал назад, прижимался усами к щеке, шептал: «Готова?! Держись!», отпускал вниз, с вала. Полозья фыркали снегом, сердце визжало получившей на Новый год заветного Чебурашку Вероничкой, нос не дышал. Десять секунд восторга и ужаса. Санки тормозили. Тпру! Аглая сидела не шевелясь, ждала папу. Папа слетал следом, на картонке, отряхивал Аглае мокрой шерстяной варежкой нос. Еще? Снова тянул ее на вал, высоко, высоко, выше всех. Они катались на санках, на картонке, на животе. Даже на спине – ложились на картонки и мчались вниз, наперегонки со звездами, просом рассыпанными чертом перед Солохой.

Только когда они вернулись домой, скатившись с горы столько раз, до скольких Аглая еще считать не умела, с разболтавшимся шарфудаком, стало очевидно, что катались они, конечно, не по-людски, никто-так-не-катается катались, убила-бы-ей-богу – вот как катались.

– Что же это... – Бабушка всплеснула руками, повалилась на галошницу. – А шубка... шубка... – Бабушка закрыла ладонью рот, спрятала вырывающиеся непослушные слова, тихо заплакала.

– Где?! Где ты умудрился в феврале найти грязь?! Нет, ну это ж надо! – Мама кипела, как чайник на плите, в который налили слишком много воды, и он выплескивается, и крышка железная у него пляшет. Мама подскакивала на месте, пучила глаза, раскачивая колючий шерстяной воздух, трясла руками. – Свинья, конечно, грязь везде найдет! Тут спору нет...

Аглая слышала отзвуки произошедшей катастрофы неясно, сквозь шапку-шлем, но понимала: случилось что-то плохое, пугающее, непоправимое. Но что, до нее никак не доходило. Аглая стояла перед папой, хлопала глазами, как кукла Маша, которая умела ходить и говорить «Ма-ма! Ма-ма!», а больше ничего не умела.

– Ее еще же Веронике донашивать! Мы с Зоей, с Зоей скидывались, вместе покупали! Это же... Это же!.. – Мама села рядом с Аглаей на корточки, начала раздевать. Из уголка ее глаза ползла блестящая слеза, улиткой оставляя на щеке липкий черный гуашевый след.

Маму было очень-очень жалко, у нее беда стряслась какая-то. Аглая поднесла мокрую варежку к маминой щеке, вытерла улиточную слизь. Но мама не успокоилась, она втянула носом воздух, сморщилась, и тут... черногуашевых улиток стало много-много, они побежали

наперегонки по маминым распухшим щекам. Кто быстрее до подбородка?! Это были неправильные, так-быстро-не-должны-бегать-улитки. Аглая три раза вдохнула носом соленый воздух, надула губы, хлюпнула, зажмурилась и тоже заревела, мокро и обжигающе.

– Видишь! Видишь! Что ты с ребенком сделал! – Мама, всхлипывая, сняла с Аглаи шапку-шлем, пригладила вспотевшие волосики, крепко обняла. – Глаша, Глаша, ты не ушиблась? Нет?

Аглая замотала головой, которая наконец начала двигаться. Мама расстегнула шубку, вынула из нее Аглаю, встала, пошла на кухню – там светлее. Аглая перестала плакать, перекачивающимся пластиковым серым осликом в валенках подошла к маме, ойкнула. Шубка была вся... вся... будто ее мальчишки во дворе грязевыми снежками расстреляли. Из желтого тигренка превратилась в бурого медвежонка. Такую Вероничке не отдашь. Бедная Вероничка из-за них с папой осталась без шубки! Аглая обернулась на переминающегося с ноги на ногу папу. Папа все еще стоял на пороге. Под его большими галошами растекалась грязная снежная лужа, валенки от страха описались, как Аглая, когда ее в детстве Дед Мороз напугал.

Мама всхлипывала и что-то все время говорила то шубке, то папе, то шубке, то папе. Шубка и папа молча переглядывались, не отвечали.

– Давай, Агуля! – Бабушка наконец отпустила рот, непослушные слова успокоились, больше выскочить не пытались. Бабушка встала с галошницы, подхватила Аглаю на руки, понесла в ванную. – Ты как чертенок! Мыться пошли!

Шубку потом отдали в химчистку на Горводокачке. Она стала как новенькая, пахла лимонными корочками. И Вероничка ее носила, и тети-Феклина внучка. А на санках с вала они с папой больше никогда не катались. И рассыпанные чертом перед Солохой звезды в мороз, лежа на снегу, не видели.

* * *

За кольцевой дорогой, в поселке, Аглаю догнал Гудвин.

– Аглая, здравствуй! Aren't I lucky to have caught you here?!¹⁴

– Здравствуйте.

«Кот. К-а-у-г-х-т», – повторила Аглая про себя. На английский она переоделась. Мамина красная водолазка, темно-синие джинсы клеш, дядя Валера им с Вероничкой одинаковые из Китая привез, самое похожее на Полинину из того, что было у нее в гардеробе.

– Ты отлично включилась в учебу, Аглая. Если так и дальше дело пойдет, всех перего- нишь. – Гудвин легонько толкнул Аглаю в плечо.

В водолазке было жарко. Итальянская. Escada, 100% шерсть.

– Красиво, да?! Люблю наш поселок. Вроде время здесь есть, а вроде и нет его. Безвре- менье, в котором можно встретить удивительное. Тебя, например. Ты чего так рано? – Гудвин подпрыгнул, подстроился под Аглаин шаг, ответа не дождался. – Знаешь, я переживал, при- дешь ты или нет. Ты такая напуганная была на тестировании. И вот я, представляешь, думал о тебе, гадал. Придет. Не придет. Так ты еще и на первый урок опоздала, заставила меня повол- новаться...

– Но я не опаздывала...

Аглая заправила за ухо пушистые волосы, сегодня пошла с распущенными, может, от этого еще так жарко. Надо было хвост завязать.

– То есть я опоздала...

Гудвин улыбался, но не ртом, а глазами и носом, она тоже улыбнулась.

– Меня в школе задержали...

¹⁴ Не счастливцев ли я, что тебя здесь встретил? (англ.).

– Хорошо понимаю твоих педагогов. Я бы тоже тебя с удовольствием задерживал после уроков... Ты не куришь? – Гудвин достал пачку сигарет Camel, смахнул вверх крышку большим пальцем, предложил Аглае.

Аглая испуганно уставилась на сигареты, будто Гудвин ей, как Лешка, рогатку протянул и предложил стрелять по голубям.

– Ну и правильно... Сможешь найти ошибку? – Гудвин кивнул на пачку.

Папа такие не курил. Camel Filters. Turkish & American Blend Cigarettes. Пустыня. Пальмы. Пирамиды. «Может, в слове cigarettes одна буква t?» – подумала Аглая, но ничего не сказала, замотала головой.

– Помнишь, как это было: «У верблюда – два горба, потому что жизнь – борьба!»¹⁵ Camel на английском «верблюд двугорбый». А у этого горб один. «Вы либо австралиец, либо немецкий беженец»¹⁶. – Гудвин сам себе улыбнулся. – Вот так. Ошибка, а красиво! И какой успех. – Гудвин подумал, убрал пачку сигарет в карман.

Аглая гармошкой задрала рукава водолазки. Надо было футболку надеть. Это не Подмосковье, а египетская пустыня какая-то с одnogорбыми верблюдами.

– Давай лучше расскажу что-нибудь интересное. Вот, например... – Гудвин кивнул на деревянную избу справа.

В поселке было много таких. Голубые потертые наличники с облезшими дощечками – клавишами металлофона в ряд. Можно взять молоточек, постучать. В таком доме жила тетя Фекла, они в ее погребке земляном, холодном царстве Кощея Бессмертного и мышей, картошку хранили.

– Жаль, все это умирает. Мимолетная красота. Видишь, верхняя часть наличников – это металлургические клещи, вон там, на кокошнике. – Гудвин остановился, взял Аглаю за плечи, повернул, правой рукой шмыгнул ей под вспотевшую подмышку, показал на окно.

Черт, он же поймет, что она вспотела.

– Плотники что видели, то и вырезали. Знаешь, зачем их вообще придумали, наличники? – Гудвин вынул руку.

Про наличники Аглая ничего не знала, зато знала, что никогда в жизни больше эту дурацкую водолазку не наденет.

– Деревянные дома усадку дают, между домом и рамами щели образуются, наличники их закрывают. Всю эту красоту наводить стали позже корабельные плотники, те, что лады мастерили; помнишь – обереги на носу от бушующих стихий, драконы, козлы, тигры, бычьи головы?

Они повернули за угол.

– Как быстро мы с тобой пришли. Говорю же, безвременье. Чувствуешь? – Гудвин остановился у калитки, под липой, втянул воздух. Замолчал.

Липа ровная, высокая, желтизну свою уже почти промотала, жухла цветом вафельного стаканчика. Ясно же, со дня на день подхватит простуду – душно что-то, жар, что же так душно, – счихнет оставшиеся листья, останется стоять голая, ждать зиму, а потом сдастся зиме в плен, до весны.

– Да, дождем пахнет. – Аглая посмотрела туда же, куда и Гудвин, на липу.

– Озоном, Аглая, озоном. У дождя нет запаха.

– Как это нет? – обиделась Аглая. Они с Вероничкой и Бабушкой всегда дождь нюхали, открывали настежь окна, высовывались с ковшиками, набирали вкусную дождевую воду и пили потом ее по капле из игрушечных стаканчиков, как волшебный нектар. И даже вода дождем пахла.

¹⁵ Из художественного фильма «Гараж». Реж. Э. Рязанов.

¹⁶ Здесь и далее цитаты из романа В. Набокова «Лолита».

Гудвин улыбнулся:

– Так, нет. – Он легонько щелкнул Аглаю по носу шершавым указательным пальцем. – Твой нос чувствует не дождь, а озон. Три молекулы кислорода.

– Дождь, мой нос чувствует дождь, – упрямо повторила Аглая, все больше, сама не зная почему, на Гудвина злясь, будто он хотел забрать у нее то единственное, во что она отчаянно безусловно верила.

Гудвин засмеялся:

– Ну хорошо, как скажешь. Красивая у нас липа, правда? Липа всегда цветет первой, подруг не ждет. Есть такие деревья, которые раньше других набухают весной почками, волосками пускают рябь по своим едва пигментированным зеленом листьям, пульсируют солнечными пятнами. Не хотят ждать. Всю молодую сладость этого мира себе забирают. – Гудвин потянулся рукой к ветке, сорвал листок, вручил Аглае.

Линии на ладони липового листа были четкие, глубокие, как у Гудвина. Линия жизни оберегом огибала холм Венеры. Линия судьбы, прямая, ясная, утверждала свое существование четким восклицательным знаком. Яркая длинная линия сердца висела коромыслом через всю ладонь, тянулась от указательного пальца до мизинца.

– Опять желтое. – Гудвин подмигнул: – У нас с тобой традиция, похоже, намечается. «Пряная прелесть, нежный узор наготы». – Гудвин посмотрел на Аглаю, словно оценивал, кивнул на дверь: – Пойдем. Дождь начинается. Ты не грусти, обещаю, мы с тобой дождемся весны. Липа опять зацветет. Липа всегда цветет первой.

Глава третья

Липа цветет первой

На третьем уроке стояла невыносимая физра. Больше просто физры Аглая ненавидела только физру зимой. Приходилось тащить из дома лыжи – папины, зеленые, шелудивые, с неподходящим полустертым названием «Юность» – и наматывать круги по стадиону за школой. Аглая всегда плелась последней. Мамины одеревеневшие стоптанные ботинки постоянно сваливались. Физра и унижение были идеографическими синонимами с разной интенсивностью проявления позора. Старый, дряхлый. Унижение, физра. В таком порядке.

Самая низкая в классе, Аглая стояла в конце шеренги. Каждый урок приходилось делать шаг вперед, скулить постыдное: «Расчет окончен». «Расчет окончен», конечно, нужно было не скулить, а говорить бодрым пионерским голосом, но выходил скулеж. Только раз за всю школу шеренга заканчивалась не на ней. В шестом пришла Наташка, без бантов на полголовы ниже Аглаи, встала в самый конец. Аглая так радовалась, что Надежда Петровна выпучила круглые обезьяньи глаза и подозрительно спросила: «У тебя все в порядке, Дымова? Тебе что, хвост мать перетянула?» К ноябрю Наташка подло, втихаря, не предупредив, Аглаю переросла. «Расчет окончен» вернулся к ней бумерангом, угодил прямо в лоб. Аглая больше на физкультуре не улыбалась, а Надежда Петровна не переживала за ее хвост.

Надежда Петровна вообще ни о чем особо не переживала. Она не верила ни в тоску, ни в уныние, ни в размазывание соплей по лавочке. Оптимизму, борьбе и спорту, трем фундаментальным опорам своего существования, она посвятила всю жизнь, никогда им не изменяла. У человека с большой буквы «Ч» должны быть принципы. У Надежды Петровны они были, твердые, как ее идеальные бицепсы. Поджарая, быстрая, физкультурой одержимая женщина, внешне смахивающая на многодетную мать из мультфильма «Осторожно, обезьянки!», Надежда Петровна не менялась все девять лет, что Аглая ее знала: не худела, не толстела, не седела, задора не теряла. В школе про Надежду Петровну шутили, что спит она в камере крио-заморозки, на ее маленьком круглом лице морщины не появлялись. У всех других учительниц время безжалостно плело паутину на лбу, в уголках глаз и губ, у Надежды Петровны – нет. Время у Надежды Петровны, как и остальные, стояло по стойке смирно.

Физкультурников в школе было двое: Надежда Петровна и Сашка Михалыч, высокий, ростом с дядю Степу, нескладный алкоголик-обэжешник. Сашка Михалыч был мужик добродушный, но безответственный. Когда он однажды заменял Надежду Петровну, которая уехала в Москву на курсы повышения квалификации физкультурных работников, Аглая размозжила себе подбородок. Споткнулась о железную перекладину и полетела прямиком на деревянный пол. Сашка Михалыч был с похмелья, недосмотрел. Вызывали скорую и маму с работы, накладывали швы. Больно не было, страшно только из-за густой лужи крови на полу и диких глаз Ольги Николаевны, прибежавшей ее спасать и ругаться на Сашку Михалыча. И тоненький шрам остался. Хвостом головастика до сих пор вилял на подбородке. У Надежды Петровны за семнадцать лет педагогической карьеры не было ни одного несчастного случая. На уроках царили армейский порядок и олимпийская дисциплина.

Надежда Петровна всю жизнь носила один и тот же спортивный костюм с лампасами, много лет стабильного ярко-синего цвета (говорила, что он не выцветает, потому что в Советском Союзе ткани делали качественные, не то что сейчас, один китайский ширпотреб), и белые кеды с тонкими красными полосками, всегда идеально чистые (можно было подумать, что Надежда Петровна жила не в Подмосковье, а где-нибудь в Рио-де-Жанейро, где всегда сияет солнце, гуляет-таки в белых штанах среди танцующих чарльстон мулатов Остап Бендер, а дороги после дождя не превращаются в болотную жижу). На левой половине никогда не

линяющей кофты красовались две буквы СС, на правой – СР, обычно разрезанные зубастой молнией на две части. СС и СР никогда на скромной груди Надежды Петровны не встречались. Развал Советского Союза зиял суровым упреком подрастающему поколению из урока в урок, поучал. Надежде Петровне всегда было жарко. «Окна не закрывать! Чтобы быть здоровым, нужны холод, голод и движение!» – повторяла она, если кто-то осмеливался пропищать жалобное «Я замё-о-орзла-а-а». В такие моменты теория о камере криозаморозки не казалась Аглае такой уж фантастической. Кто ее знает. На шее у Надежды Петровны висел железный свисток-талисман, подарок любимого научного руководителя из Центрального ордена Ленина института физической культуры. Надежда Петровна никогда свисток не снимала, носила его, как Бабушка свой железный крестик. У нее была своя религия и свой бог.

Наташка и Аглая зашли в спортивный зал последние. Попробуй соберись с урока, добеги до раздевалки и переоденься за десятиминутную перемену. Раздевалка в пять квадратных метров походила больше на банку рижских шпрот, а не на комнату: две низкие деревянные лавки по стенам, уже, естественно, занятые (на одну толстую Таньку пол-лавки уходит), толкотня, неуютность, нагромождение полуголых девчачьих тел. Почти так же жутко, как в общественных банях, куда Аглая ходила с мамой и Бабушкой в детстве. В раздевалке было как в парилке: жарко, удушливо, тягостно. Через пару минут, еще штаны стянуть не успеешь, вся как маслом из-под шпрот намазана. Так еще и опаздываешь все время, не успеваешь, Надежда Петровна нервничает.

– По-о-остр-р-роиться! – раздалось из дальнего угла зала. Четко, громко, раскатисто. Надежда Петровна поддерживала в спортивном зале свой собственный идеальный, ритмичный мир спорта, дисциплины и победившего коммунизма. Пусть эти малахольные госсекретари страну и развалили, а она свой мир удержала, удерживает и будет удерживать!

– Опять прыгать будем. – Наташка поплелась к шеренге вяло, желеобразно, заливной рыбой, которую заставили доползти самостоятельно до тарелки, где ее тут же сожрут, даже не посмотрят. Наташка – заливная рыба кивнула на поблескивающие холодным пыточным цветом перекладины. Аглая обернулась. Черт! Только не прыжки в высоту! Хуже только карабканье по канату: кожа на ладонях натирается, как сухая палка, из которой пытаются добыть огонь, а ты хочешь, но не двигаешься, висишь ровно на том же месте, до которого смогла дотянуться, руки-то дохлые, и поднять хоть на один захват твое цыплячье тело силы в них не хватает. Под окнами по стене тянулись две перемотанные белой клеевой лентой перекладины: одна потолще и повыше – для мальчиков, вторая похудее и пониже – для девочек. Вика, высокая, спортивная, Настькина лучшая подружка, крутила задницей возле перекладины. Ей хорошо, перекладина вон ниже бедра. Аглае с Наташкой – по пояс, четвертые в резиночках, когда, чтобы перепрыгнуть, ноги до талии задирать приходилось.

– Безднадега, – равнодушно зевнула Наташка. – Опять вся задница в синяках будет.

– Не зевай в спортивном зале! Тебе что, Галкина, кислорода не хватает? Сейчас у меня на улицу отправишься разминаться! Надышишься! – Надежда Петровна на всякий случай зыркнула на окна, будто кто-то, пока она расставляла перекладины, посмел их закрыть. Убедившись, что окна послушно поставляют в зал кислород, она довольно кивнула. Подпрыгивающей походкой пошла вдоль шеренги, тыкая в носки кед «слепых куриц», которые не видели жирной белой черты на полу. Досталось, правда, только зазевавшемуся Мишке, и то не сильно.

Мишку все в школе любили. Он был хоть и троечником, но добрым и веселым, улыбался торчащими в стороны эльфийскими ушами так, что злиться на него становилось положительно невозможно. Остальные десятиклассники и не думали выходить за черту, стояли ровно, носок к носку. Девять лет курса дрессировки Надежды Петровны сломили всех, даже самых непокорных.

– Ра-а-ас-счи-и-итайсь! – Надежда Петровна едва заметно улыбнулась Петьке.

– Первый, – полно и радостно отчеканил Петька, физра была единственным предметом, который он любил искренне и взаимно.

Шестой. Седьмой. Аглая смотрела прямо перед собой. В окно желто-зелеными растопыренными листьями лезли клены, высокие, всклокоченные. Ни одной липы. Двадцатый.

– Двадцать четвертый. – Наташкин номер чиркнул по правой щеке запахом ромашкового шампуня.

– Двадцать пятый! Расчет окончен! – Даже голову ей поворачивать не доставалось. Аглая сделала шаг вперед, маленький, цыплячий. Тут же запрыгнула обратно в шеренгу.

– Веселей, ребята! «Мы верим твоё-о-ордо в героев спо-о-о-р-р-рта!»¹⁷ – заскандировала Надежда Петровна голосом предводителя майской демонстрации. Сочно хлопнула в ладоши. – Ра-а-азминка! Бег в хорошем темпе! Пять минут! – Замерла, обвела всех ободряющим, искрящимся взглядом, сложила губы трубочкой, поднесла ко рту трофейный свисток, вдохновенно дунула. Надежда Петровна свистела так же, как и жила: с чувством, звонко, пружинисто. Свистела она чуть дольше необходимого, парусами раздувая впалые щеки, проверяла жизненную емкость легких. Порядок! Четыре с половиной литра. – На-а-ачи-и-ина-а-ай! – Надежда Петровна выплюнула свисток обратно на скудную грудь, принялась энергично, будто кривой рукояткой двигателя вырабатывая искру, крутить правой рукой от локтя, задавая бегущему первым Петьке ритм. – Давай, Петя! Давай! Держим ритм! Хорошо идешь. Равняйся на Пивоварова! Не отставать! О тебе, Петр, сложат песни! В спорте нужно жить ярко! Ноги, какие ноги у Пивоварова! Гепар-р-рд! В прекрасном мире будущего у всех будут такие ноги!

¹⁷ Здесь и далее цитаты из песни «Герои спорта» в исполнении М. Магомаева. Автор текста Н. Добронравов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.